



**Константин Симонов**

**Последнее лето**

**ФТМ**



Живые и мертвые

Константин СИМОНОВ

**Последнее лето**

«ФТМ»

1965-1970

**Симонов К. М.**

Последнее лето / К. М. Симонов — «ФТМ»,  
1965-1970 — (Живые и мертвые)

ISBN 978-5-4467-0454-5

Роман «Последнее лето» завершает трилогию «Живые и мертвые»; в нем писатель ведет своих героев победными дорогами последнего лета Великой Отечественной.

ISBN 978-5-4467-0454-5

© Симонов К. М., 1965-1970

© ФТМ, 1965-1970

# Содержание

1	5
2	14
3	24
4	36
Конец ознакомительного фрагмента.	40

# Константин Симонов

## Последнее лето

### 1

Сорок четвертый год, так же как и минувший сорок третий, начался под грохот орудий в разгар нашего зимнего наступления. Но тогда, год назад, война шла еще в глубине России, в междуречье Волги и Дона, а теперь шагнула далеко на запад, за Днепр, в Правобережную Украину.

В конце января было окончательно разорвано кольцо блокады вокруг Ленинграда, в феврале в котле под Корсунь-Шевченковским погибло десять немецких дивизий. В марте и апреле немцам пришлось оставить почти всю Украину – Умань, Херсон, Винницу, Проскуров, Каменец-Подольск, Черновицы, Николаев, Одессу. Наши войска вступили в северную Румынию, освободили Крым и в начале мая штурмом взяли Севастополь.

Но даже все это, вместе взятое, было только началом тех огромных событий, которым еще предстояло развернуться до конца этого бурного года.

С середины апреля наступление стало постепенно затихать. Завершив свои операции, фронты один за другим останавливались на достигнутых к весне рубежах. А вслед за взятием Севастополя наступила общая глубокая и длительная пауза, означавшая собой начало подготовки к новому наступлению.

Удовлетворение сделанным соседствовало в сознании людей с предчувствием предстоящего. И от этого предчувствия, от все растущей уверенности в нашем, теперь уже бесповоротном военном превосходстве над немцами все чаще казалось, что приближающееся четвертое лето войны будет последним. Во всяком случае, хотелось так думать...

Только испытав это чувство, можно понять всю меру досады и тревоги военного человека, вдруг в это самое время силою случайных обстоятельств вырванного из гущи войны и очутившегося сначала на операционном столе, а потом на больничной койке. Разбившись на «виллисе», Серпилин попал в госпиталь с переломом ключицы и легким сотрясением мозга и теперь третью неделю долечивался в подмосковном военном санатории Архангельское. Был уже конец мая, а впереди все еще оставалось целых десять дней до врачебной комиссии и возвращения в армию, если пустят.

Авария произошла недалеко от местечка Студенец, на хорошо памятном по сорок первому году большаке, выходившем к железной дороге. Тогда, прорываясь к своим из-под Могилева, он ночью с остатками дивизии пересекал эту железную дорогу Кричев – Орша, а теперь, через три года, его армия после зимних боев сосредоточивалась в этих же самых местах перед все еще занятым немцами Могилевом.

Объездив знакомые места, Серпилин уже возвращался к себе в штаб, как вдруг шедший впереди «виллис» с офицером разведотдела, забуксовав на обочине, зацепил колесом за черт ее знает с каких пор лежавшую там мину.

Водитель Серпилина вывернул и врезался в дерево. Приехав теперь в Москву, чтобы быть под рукой у командующего, он до сих пор ходил как в воду опущенный, хотя действовал правильно, а врезался в дерево потому, что была ночь и его ослепило взрывом. Наверно, еще правильней было бы не вывертывать, а затормозить. Но этого Серпилин не сказал, не захотел добивать человека. Только подумал про себя: не сменить ли, когда вернемся на фронт? Как бы не стал после этого перестраховываться.

Серпилин жил в жестокой досаде на случившееся с той самой минуты, как по дороге в госпиталь, еще в машине, пришел в себя. Армия без него вышла на новое направление, без

него пополнилась, без него изучала оборону противника и готовилась к летним боям, – а он все лечился. Еще плохо действовала левая рука, и приходилось каждый день заниматься гимнастикой с лечащим врачом. Лечили тут основательно – такой приказ. Пока затишье, медицина этим пользуется!

В Архангельском царила атмосфера ожидания и нетерпения. Все ждали лета. В прошлом году в это время тоже ждали лета, но ждали с тревогой: не пойдут ли немцы ломить нас еще раз?

А этого лета ждали с твердой верой в то, что с самого начала будем наступать мы.

Кроме военных в санатории лечились и разные другие люди. Среди них – знакомый Серпилину еще с тридцатых годов директор уральского артиллерийского завода. Его противотанковые пушки с большой начальной скоростью хорошо показали себя на Курской дуге, и теперь их начали ставить на танки. Этот человек, хотя его недавно еле отходили после тяжелого сердечного приступа, тоже, как понял из разговора с ним Серпилин, спал и видел: поскорей вернуться к себе на Урал, на завод. Все спешили! Всем казалось, что без них не обойдутся ни на фронте, ни в тылу.

На войне все время в своей армии – с кем вместе воюешь, с тем и видишься. А тут, в санатории, – перекресток, люди с разных фронтов. Серпилин даже перестал удивляться тому, сколько знакомых встретил за три недели. С одним учился в академии, у другого стажировался, с третьим служил... А сегодня утром, после завтрака, гуляя по Архангельскому парку, вдруг услышал за спиной:

– Федор Федорович, ты?

И, повернувшись, увидел своего бывшего командарма Батюка в байковой теплой верблюжьего цвета пижаме и тапочках.

Несмотря на знакомую бритую голову и черные усы, Серпилин не сразу узнал его – настолько была неожиданна встреча, да и непривычен самый вид Батюка в этой байковой, рыжей пижаме.

Когда после боев в Сталинграде Серпилин, еще не зная своей судьбы, уезжал в Москву по вызову Сталина и явился прощаться, Батюк стоял у своего «виллиса» одетый по-зимнему – в полушубке, папахе и бурках. Таким и запомнился; больше не виделись. А теперь эта пижама и тапочки!

– Здорово, Иван Капитоныч! – сообразив, что все же это Батюк, сказал Серпилин и пошел навстречу.

Может быть, не только Серпилин, но и Батюк почувствовал заминку, которая вышла прежде, чем они обнялись. Но когда уже обнялись, Батюк задержал его дольше, чем можно было ожидать. Наверно, хотел показать, что не в обиде за прошлое.

«Ну что ж, хорошо, коли так», – подумал Серпилин и в душе еще раз поблагодарил тогдашнюю нелетнюю погоду за то, что избавила их обоих от трудных минут: Батюк отбыл в Москву поездом за сутки до того, как Серпилин прилетел сменить его на армии.

– Знал, что ты здесь, – сказал Батюк, выпуская Серпилина из объятий. – Вчера, как пришел, стал выяснять обстановку: кто в инвалидной команде? Заходил к тебе, но сестра сказала: к докторше чай пить пошел. Решил не мешать. Дело твое теперь холостое.

Серпилин промолчал. Не ответил. Потом посмотрел на здоровое, загорелое лицо Батюка и спросил:

– А ты что, не в нашу, инвалидную?

– Бог миловал, – сказал Батюк. – Получил после Крыма две недели на отдых. Мою гвардейскую – в резерв Ставки, а меня – сюда. За себя временно оставил начальника штаба Варфоломеева. Как и ты, академик. Но командной жилки не имеет, так что не подсидит.

– А я тебя не подсиживал... для ясности, – сказал Серпилин спокойно, но в голосе его была нота, предостерегавшая от дальнейшего разговора на эту тему.

– Шучу и про него и про тебя! Знаю, что не подсиживал, – сказал Батюк, – а то бы не разыскивал тебя. Дорожек тут в парке много... Верные сведения имею, что не женился?

– Верные.

– А я свою сюда ожидаю. Авиаторы обещали сегодня из Омска доставить.

– Давно не видел?

– С начала войны. Было подумал, самому к ней туда, а потом решил, пусть в Москву прилетает. Сын на фронте, внуков нет.

– Где теперь сын? – спросил Серпилин, помнивший, что тогда, в сорок третьем, сын Батюка служил в артиллерии под Ленинградом.

– Все там же, на Карельском перешейке. Вторую войну там трубит. Все же у нас на южных фронтах веселее! Нынче здесь, завтра там.

– Да, – неопределенно сказал Серпилин, вспомнив, как в сорок втором они с Батюком отступали от Дона к Волге, и подумав, что еще неизвестно, где тогда было веселее – в Ленинграде или там, у них на юге. – Да... – помолчав, повторил он. – Теперь на юге, конечно, веселее.

Он подумал не о себе, а о войне, а Батюку по выражению его лица показалось, что о себе и своем погибшем на Воронежском фронте сыне.

– Хотели тогда с Захаровым перевести его поближе к тебе, в нашу армию, – сказал Батюк. – Но не успели. А успеет – может, и жив был бы до сего дня. Хотя война такая...

Он не закончил фразу. Оба они достаточно хорошо знали, какая эта война и как трудно угадать, где на ней человек уцелеет, а где умрет.

– Мой только один раз легко ранен был, там же, в Ленинграде. Пролежал месяц – и опять в строй, – сказал Батюк о своем сыне. И без паузы спросил: – Про наши крымские дела слышан?

Серпилин кивнул. Про крымские дела он был достаточно слышан, как и все люди, жившие войной. Освобождение Севастополя на пороге четвертого лета войны казалось ему счастливым предзнаменованием на будущее. Он знал, что армия Батюка действовала там, в Крыму, на главном направлении, но в первую минуту встречи, наверное из-за этой байковой пижамы, запомнил, что Батюк был не только награжден за эти бои Суворовым первой степени, но и получил первое за войну повышение в звании – генерал-полковника. Об этом неделю назад было напечатано во всех газетах.

– Поздравляю тебя вдвойне, – сказал он, пожимая руку Батюка.

Батюк довольно улыбнулся: после успешных действий в Крыму он наконец обрел на войне положение, которое считал для себя давно заслуженным.

То, что он командовал теперь гвардейской армией и имел орден Суворова первой степени и звание генерал-полковника, а Серпилин, одно время после Сталинграда догнавший было его в звании, оставался генерал-лейтенантом, – все это делало Батюка в его собственных глазах как бы вновь старшим по отношению к Серпилину, несмотря на их одинаковые должности командармов. Между ними вновь установилась та дистанция, которая позволяла Батюку без насилия над самолюбием вспоминать время, когда они служили вместе и Серпилин был его подчиненным.

– Как твое хозяйство? – спросил Батюк. – Многих поменял, когда пришел после меня?

– Я почти не менял, война меняла. Одних под Харьковом, других на Курской дуге.

Он назвал Батюку несколько старших офицеров, убитых или тяжело раненных и уже не вернувшихся в армию.

– Членом Военного совета по-прежнему Захаров?

– По-прежнему он, – кивнул Серпилин. – А начальника штаба армии из Москвы дали – некто Бойко, был полковник, ныне генерал-майор.

– Неудачный, что ли? – спросил Батюк, которому почудилась неприязнь в слове «некто».

Но Серпилин употребил это слово не из неприязни, а по давней привычке, оставшейся еще с царской армии.

– Напротив, удачный, – сказал он. – А про Пикина, наверное, сам знаешь, в приказе было.

– Читал. Подвел он тебя, сукин сын. – Счастье, что с рук сошло.

– Подвел, – согласился Серпилин. – Хотя в то, что сукин сын, не верю.

– Чего ж тут не верить? В приказе ясно сказано было, что попал в плен, имея при себе карту с обстановкой.

Серпилин поморщился. Сначала не хотел вдаваться в эту тяжелую историю, только чудом оставшуюся для него самого без всяких последствий. Но потом превозмог себя и сказал то, что думал и писал в своих объяснениях тогда, в марте сорок третьего, под Харьковом: зная Пикина, не верит, что тот, из-за ошибки летчика приземлившись на связном У-2 в расположении немцев, мог сдаться в плен, не уничтожив оказавшуюся при нем карту с обстановкой. Допускает обратное: не успел застрелиться и попал в плен потому, что в первую очередь спешил уничтожить эту карту.

– В приказе по-другому было. Что сдался в плен с оперативными документами.

– Было, – согласился Серпилин.

– Сами немцы у себя об этом писали. Оттуда и мы узнали.

– Писали, верно, – сказал Серпилин. – Но могли написать и для дезинформации, чтоб спутать нам планы. Раз попал в плен начальник оперативного отдела штаба армии, почему не написать, что с документами? Мы разве не пользовались случаем, не писали таких вещей?

– Все может быть, – сказал Батюк. – А не допускаешь мысли, что не случайно заблудились? Как ни говори, а все же в тридцатом году из кадров его вычищали – имели на то причины; до самой войны в запасе находился...

– Не допускаю. Столько раз видел его в боях, что не могу допустить.

– Так или иначе, а подвел он тебя крепко, – сказал Батюк. – Поторопился взять его на оперативный отдел.

– Это верно, поторопился.

Минуту или две после этого они продолжали идти рядом в молчании, за которым была отчужденность. Батюк с вдруг нахлынувшим раздражением за старое подумал, что Серпилин по-прежнему слишком много о себе понимает: «знаю», «видел», «не допускаю»... все «я» да «я». Считает в душе, как и раньше, что он всех умней.

А Серпилин шел и думал о себе и о Пикине: «Что верил ему и продолжаю верить – в этом прав. А что, получив армию, сразу взял к себе Пикина начальником оперативного отдела – это верно, поторопился. Начальник штаба был новый, незнакомый, захотел иметь рядом с ним своего человека, проявил пристрастие, вернее, слабость, в которой потом каялся. В дивизии Пикин был на месте, а на оперативном отделе растерялся от масштабов, тем более в неожиданной тяжелой обстановке под Харьковом. По своей вине опоздал довести до двух дивизий приказ об отходе, а потом, когда совсем потерял связь, сам напросился лететь туда: лично исправлять положение». И Серпилин на свою голову разрешил.

Потом ему хотели поставить это лыко в строку. А кончилось даже без выговора в приказе. Серпилин и до сих пор не знал до конца почему. Конечно, сыграло роль, что Захаров, как член Военного совета, написал во фронт то, что думал, как и всегда, не стремился угадывать, какие там у кого настроения. Но одного этого мало. Скорей всего – Серпилин уже не раз думал об этом, – когда доложили на самом верху, в Москве, Сталин, только недавно выдвинув тебя командармом, не отступился и не позволил сразу же снять. А что снять предлагали, сомнений нет. Ответственность на плечах лежала тяжелая. Одной своей верой в Пикина ее не снимешь, а других доказательств, кроме веры, нет.

– Барабанова помнишь? – вдруг спросил Батюк.

– Помню, – сказал Серпилин, поднимая на него глаза.

В вопросе Батюка ему послышался вызов. И напрасно: Батюк просто вспомнил о Барабанове как о человеке, который в свое время тоже, хотя и по-другому, подвел его, как Пикин Серпилина.

– Написал мне прошлым летом, после госпиталя, просил прощения за то, что накурел-сил. Знал мою душу, что возьму его обратно.

– И взял?

– Взял. Прибыл ко мне на фронт тише воды, ниже травы, старшим лейтенантом – за попытку к самоубийству два звания долой. А теперь обратно майор.

– Адъютантом?

– Адъютантом. Просился в разведку, но я оставил у себя. Привык. Поверишь ли, скучал без него, адъютант он замечательный.

– Наверное, – сказал Серпилин. – Не навязал бы мне его тогда командиром полка, и ты без него не скучал бы и он бы не стрелялся.

Батюк внимательно посмотрел на Серпилина, словно вдруг увидев в нем что-то такое, о чем уже запечатывал:

– Да, вижу, с тобой не похристосуешься. Думаешь, не знаю ваших разговоров про меня, что горяч, доведи, могу так перекрестить, что и сам потом не рад? Но я горяч, да отходчив. А ты мягко стелешь, да жестко спать. Если уж кто стал тебе поперек горла, тот прощения не жди.

– Не мне он стал поперек горла, Иван Капитоныч, а делу, – сказал Серпилин тем самым, знакомым Батюку, опасно ровным голосом, который Батюк имел в виду, говоря «мягко стелешь». – Неужели и теперь не согласен, что не мог он полком командовать?

– Мог, не мог! Не пил бы, смог бы. Уже десять месяцев в рот не берет.

– Ну что ж, раз так, значит, теперь можно хоть на дивизию. – Серпилин рассмеялся, смягчив смехом суть сказанного.

– А ты как, по-прежнему разрешаешь себе, – спросил Батюк, – или уже здоровье не позволяет?

– После аварии воздерживаюсь. Все же, говорят, сотрясение мозга было. А до этого от прежней нормы не отклонялся. Подпишу вечером последнюю бумагу – и полстакана на сон грядущий.

– Тряхануло-то сильно?

– Не помню. Говорят, метров пять летел, пока приземлился.

– Не люблю этих «виллисов», – сказал Батюк. – Без них не обойдешься, но не люблю. Опасная машина. Слыхал, как мой предшественник на «виллисе» на передний край к фрицам заехал – из пулемета в упор!

– «Виллис» тут, положим, ни при чем, – возразил Серпилин.

– Как ни при чем? – воскликнул Батюк. – Гонял на нем так, что охрана не поспевала. Умный, говорят, был человек, но в этом бесшабашный. Задним ходом выскочили обратно, но уже все! Двенадцать пуль в груди. Вот и убыл, как говорится. А я прибыл. И операцию начал со всеми теми, кто от него остался. Ни одного не переменил... Там, и в Таврии и в Крыму, кефир хороший. Еще с гражданской его запомнил. Как прибыл на армию, сразу потребовал, чтоб давали кефир и утром и вечером.

Серпилин улыбнулся. Вспомнил, как в столовой Военного совета для Батюка, что бы ни было, всегда квасили молоко. Спиртное он пил редко, только под настроение. И то потом все равно хлебал на ночь свою простоквашу.

Скольким людям за войну, когда Батюк багровел от гнева, казалось, что это не просто так, что есть на это хорошо известная причина. А на самом деле причины этой у Батюка не было, а кричал он и давал волю своему нраву от давней и непоколебимой уверенности, что все это требуется в интересах дела.

«Да, – подумал Серпилин, – посмотреть бы на него на фронте, какой он теперь. Насколько и в чем изменился? Ругать людей последними словами все больше выходит из обычая. И меньше причин, потому что больше порядка, и люди сильнее, чем раньше, сопротивляются этому, потому что чем дальше, тем у них за душой меньше вины и больше гордости. А в конце концов все сводится к тому, что намного лучше воюем».

И Батюк, словно отвечая его мыслям, сказал, в сущности, о том же самом:

– Когда шли по Крыму, глядишь иной раз в степь и видишь: неубранные кости белеют – с сорок первого. Вспомнишь все, что пережили, и удивляешься людям: как все же выстояли тогда? И самому себе: как же ты живой остался после всего, что с тобой было? Глядишь на эти белые косточки и думаешь: кто только не ругал тогда и их, бедных, и самого себя за то, что здесь отступили, там не удержали!.. А сейчас бы, кажется, и воскресил и обнял, да некого... Я в Москве вчера был, мне там объяснили про новое обучение: что с этой осени в школах парней отдельно обучать станут. Не слышал?

– Вроде бы так, – сказал Серпилин.

Он уже слышал об этом раздельном обучении, и ему казалось, что, если ребята начнут учиться отдельно от девочек, это будет лучше для допризывной подготовки, а значит, и для армии. Боль сорок первого года продолжала беречь память: сколько же их было тогда, призванных прямо со школьной скамьи, готовых отдать свою жизнь, но до того необученных, до слез неумелых, что зло на них брало!

– Какого ты мнения по этому вопросу? – спросил Батюк.

– Рад, что так решили.

– Да, молодые, – сказал Батюк. – Хлебнули мы с ними горя в начале войны.

– А не они с нами? – неожиданно для себя спросил Серпилин, казалось, только что думавший так же, как и Батюк.

– Товарищ генерал-полковник, вам на рентген пора, опоздаете!

Они оба повернулись.

Догонявшая их медсестра стояла перед ними, смущенная тем, что чуть не налетела на них с разбегу, молодая, рослая, с розовым лицом и шеей.

– Верно, пора идти, – сказал Батюк, – отвернув обшлаг пижамы. – Налетела, понимаешь, как танк...

Он посмотрел на ее во все стороны распирившее тесный медицинский халатик большое молодое тело и сказал с каким-то странным, одновременно и добрым и грубым недоумением:

– Ишь какая! И куда мы только вас после войны девать будем?

Глаза медсестры налились слезами. И оттого, что лицо ее не успело перемениться и на нем все еще оставалась та испуганная улыбка, с которой она остановилась перед Батюком и Серпилиным, эти слезы своей неожиданностью были как удар в сердце, как напоминание о том, что касалось их всех и чего лучше не трогать словами.

Кто ее знает, может, вдруг подумала о самой себе и о том, кого оставит для нее война.

– Пойдем, – не глядя ей в глаза, сказал Батюк.

И, уходя, повернулся к Серпилину:

– Если жену сегодня не доставят, после ужина еще походим.

Серпилин кивнул.

Батюк и медсестра шли рядом по дорожке, удаляясь от него. Сейчас, когда он глядел им в спину, рядом с коренастым, тяжело шагавшим Батюком медсестра казалась еще выше и моложе.

«В самом деле, что будем делать с ними после войны?» – подумал Серпилин и вспомнил, что надо будет оставить от обеда сладкое для внучки. У жены его сына сегодня выходной, и адъютант привезет ее с внучкой после «мертвого часа» сюда, в Архангельское.

После обеда, прежде чем идти к себе отдыхать, Серпилин остановился в вестибюле санатория около большой, во всю стену, карты, на которой флажками была отмечена линия фронта, в одном месте, на юге, в Румынии, уже километров на сто шагнувшая за государственную границу. Последние дни флажки на карте не двигались: положение оставалось без перемен.

Когда и где начнется наше летнее наступление, пока знала только Ставка, но, судя по ряду признаков, намерения на лето были решительные. В майском приказе Сталина, который Серпилин прочел еще в госпитале, были достаточно ясные для военного человека оттенки: говорилось не только об очищении от врага всей нашей земли, но и о вызволении из неволи братьев – поляков и чехословаков. Достаточно было после этого взглянуть на карту, чтобы понять: задачи в будущих наступлениях, говоря военным языком, ставились на очень большую глубину. А если бы не ставились, вряд ли Сталин упомянул бы о поляках и чехословаках.

Серпилин стоял перед картой и, в который раз оценивая взглядом общую конфигурацию линии фронта на Западном направлении, думал о будущем лете.

Немцы, продолжая удерживать в своих руках большую часть Белоруссии, огромным выступом вдавались в наше расположение между Полоцком на севере и Ковелем на юге.

Недавно образованный за счет соседей новый фронт, в который вошла армия Серпилина, занимал участок напротив Орши, Могилева и Быхова, как раз там, где немецкий выступ глубже всего вдавался в нашу сторону.

«Скорей всего, главные удары будут наносить соседние фронты, справа и слева от нас, а мы окажемся на вспомогательном направлении, – подумал Серпилин. – Предположить что-нибудь другое, глядя на карту, трудно».

Карта была от пола до потолка, и тот кусочек ее, на который уже без Серпилина вышла и встала его армия, выглядел совсем маленьким – в полспички. Штабные рабочие карты брать с собой в госпитали и санатории, строго говоря, не положено даже командарму. Можно бы, конечно, попросить в Генштабе или, посадив на «виллис», сгонять к себе в армию адъютанта и заставить привезти оттуда соответствующий чистый лист, без нанесенной на него обстановки... А впрочем, невелика беда. Этот лист карты и следующие за ним два листа к востоку, в сторону Ельни, и еще один лист, к западу, захватывающий Могилев, – все это намертво сидело в памяти с сорок первого года. Серпилин мог еще и теперь с закрытыми глазами вспомнить, как выглядела та склеенная из этих листов карта, по которой он сначала воевал, а потом выводил из окружения остатки дивизии. Он даже помнил наизусть, какие населенные пункты оказались на ее сгибах, так сильно потертых, что трудно было разбирать надписи.

Он мысленно видел перед собой эту карту-двухверстку и на ней, на втором ее листе, тот участок фронта под Могилевом, на который теперь без него вышла его армия. Когда они тогда, в июле сорок первого, вырвались из Могилева, то сначала пошли лесами, прямо на Благовичи, но не смогли пробиться и повернули на северо-восток, на Щекотово, Дрибень, Студенец, Татарск, шли как раз через этот район.

В его памяти все прожитое и пережитое за три года войны было нанесено на карты. Потом когда-нибудь, наверно, и войну не вспомнишь без этих оставшихся от нее карт.

А сейчас, даже когда их нет, они все равно у тебя перед глазами: и те могилевские, и подмосковные – сорок первого, и летние – сорок второго, когда отступали от Донца к Волге, и зимние – сталинградские, и весенние – под Харьковом и Белгородом; и новые – начатые в обороне на Курской дуге, а потом лист за листом подклеенные все дальше и дальше на запад, до верхнего течения Днепра.

Теперь вместо них скоро будут другие, новые, заранее отпечатанные топографическим управлением Генштаба. У немцев были заготовлены до Москвы и дальше, и у нас, надо думать, заготовлены до Берлина. А что и как в ходе боев нанесет на эти карты жизнь, увидим. Это зависит от многого, в том числе и от тебя самого. Отделенная от соседей справа и слева разграничительными линиями, проляжет по этим картам твоя полоса жизни, путь той армии, кото-

рой командуешь ты, а не кто-то другой... Сейчас эта полоса пересечена восточное Могилева сплошной синей змейкой немецких позиций. На карте сотри резинкой – и все. А в жизни придется потрудиться...

Серпилин испытывал некоторое волнение оттого, что судьба привела его именно в те места, где он начинал войну. Казалось бы, военному человеку должно быть все равно, где рассчитываться с немцами, лишь бы рассчитаться! Куда поставили, там и рассчитывайся, но, оказывается, нет, не все равно!

– Что, Федор Федорович, на карту смотрите? Все равно раньше срока не выпишем, – сказал за его спиной знакомый женский голос, и он почувствовал, что женщина не прошла мимо, а остановилась за его спиной, ожидая, что он обернется.

Он повернулся от карты, посмотрел на нее и снова, в который раз за эти дни, подумал, что она красива и что все это ничем хорошим не кончится.

– Разрешите вам доложить, Ольга Ивановна... – сказал он, глядя в глаза женщине.

– Раз «доложить», тогда уж по званию, – улыбнувшись, перебила она.

– Разрешите доложить, товарищ подполковник медицинской службы, что думал сейчас не столько о будущем, сколько о прошлом. А в будущем надеюсь на ваш здравый смысл. Вряд ли будете держать здесь лишнее время нелишнего для войны человека.

– Спасибо, что хоть в здравом смысле не отказываете. Не от каждого больного это услышишь, – сказала женщина и, посмотрев на большие мужские часы на запястье красивой руки, добавила: – И этот здравый смысл сейчас подсказывает, что вам пора идти отдыхать.

– Слушаюсь.

Серпилин чуть наклонил голову и, тоже посмотрев на ее красивую руку с большими мужскими часами, сказал:

– А вот ведь говорят, у хирургов руки какие-то особенные.

– В одной долото, в другой молоток? – спросила она без улыбки. – Сколько хирургов, столько и рук. Только моем их чаще и дольше, чем другие люди. И горячей водой с мылом, и щеткой, и спиртом, и от этого они не всегда выглядят так, как хотелось бы. А впрочем, сейчас, кажется, ничего, – добавила она, поглядев на свои руки с коротко обрезанными ногтями на длинных пальцах и улыбнувшись. – Потому что я тут не столько хирург, сколько няня при вас, генералах. Даже надоедать стало. Вот расстанусь с этим подмосковным раем и попрошусь к вам в армейский госпиталь ведущим хирургом. Что на это скажете?

– Не знаю, насколько это серьезно.

– Это верно. Я и сама еще не знаю, насколько это серьезно. Идемте. Или еще чего-то не досмотрели? – кивнула она на карту.

– Сейчас, – сказал Серпилин. – Еще пять минут – и пойду отдыхать. По-честному.

– Попробую поверить. А вечером приходите ко мне чай пить. Приглашаю заранее: до вечера не увижу.

– Спасибо. Но не слишком ли я к вам зачащу?

– Как хотите, – сказала она после маленькой паузы.

– Мне-то очень хочется, – просто сказал он.

– Ну и не подавляйте своих желаний. Говорят, это вредно. – Она рассмеялась и вышла из вестибюля, а он, зная, что она пойдет сейчас к себе в лечебный корпус, подошел к окну и увидел, как она идет по дорожке, наверное уже не думая о нем. Идет своим быстрым, деловым шагом и покачивает из стороны в сторону красивой головой в белой накрахмаленной медицинской шапочке, словно на ходу разговаривает сама с собой, о чем-то спрашивает себя или о чем-то спорит. И издали кажется совсем молодой, еще моложе, чем вблизи.

Вчера мимоходом она сказала, что ей скоро сорок. Значит, когда он видел ее в сорок первом году зимой, ей было тридцать семь... Но тогда она выглядела старше, чем сейчас.

Он смотрел до тех пор, пока женщина не завернула за угол здания, и не сразу заставил себя перестать думать о ней, когда, отойдя от окна, вернулся к карте.

## 2

После обеда Серпилин так и не заснул.

Стал думать о Батюке, а потом нахлынули мысли о самом себе, и пролежал, глядя в потолок, до конца «мертвого часа».

Удивился тому, как обрадовался при встрече Батюк. Видимо, думал о нем хуже, чем заслуживал. А почему Батюку и не встретиться с тобой по-хорошему? Своих критических мыслей о нем по начальству ты не докладывал – к этому не приучен, – а помогал ему всем, на что был способен. И тем, как исполнял при нем обязанности начальника штаба, и тем, что, когда требовало дело, спорил с ним и склонял к решениям, которые считал верными, и даже тем, что, случалось, поступал по-своему, в пределах возможного для начальника штаба.

А что потом сменил его в должности командарма – тут уж ему не на тебя, а на Сталина обижаться надо.

Но и на Сталина обижаться нечего. То, что послал Батюка заместителем командующего второстепенным фронтом, – радость, конечно, небольшая. Но и за обиду считать нельзя. А потом, через год, снова назначил на армию, притом на гвардейскую и в хороший момент – перед началом дела.

Вот только почему вдруг такое назначение? В роли заместителя командующего фронтом о себе не напомним, будь хоть семи пядей во лбу. Значит, все же Сталин держал Батюка в памяти. Война уже длинная, и счет на людей скупой, без большого запаса. Тем более только за последнее время заново сформировано одних танковых армий – шесть. Да несколько общевойсковых. И на каждую нужен командарм. Если порыться в собственной памяти, можно вспомнить, как сам колебался: выдвигать ли даже очень хорошего командира полка сразу в командиры дивизии? На полку был хорош, а каким покажет себя в другой роли, при других масштабах?

А решать, кого на армию, во много раз тяжелей. Иной раз рискнут, выдвинут нового, молодого, а в другой раз, наоборот, понадеются, что старый конь борозды не испортит. У Батюка за спиной все же почти два года командования армией. Разный, конечно, опыт. Но человек он волевой и по-своему трудолюбивый. В штабе лишнего часа не просидит, каждый день с утра в войсках, а это у нас ценят. И личную храбрость, которой Батюку не занимать стать, тоже ценят и даже порой придают ей чрезмерное значение; так уж повелось у нас на Руси. Вот и назначили. Пришел в хорошую армию, сложившуюся, устоявшуюся, с хорошим штабом, с боевыми традициями. Пришел и стал воевать дальше, судя по его словам, не ломая порядков, не перемещая людей. Да это сейчас и не так просто сделать: не дадут! И дело пошло в соответствии с уже продуманным планом операции, обеспеченной достаточными силами и средствами. Судя по результатам, не ошиблись: армия под командованием Батюка там, в Крыму, хорошо себя показала. А могла ли еще лучше показать себя при другом командующем, как проверишь? В том-то и трудность оценок на войне, в том-то и недоказуемость их окончательной справедливости или несправедливости!

Все мы набрались опыта, все или почти все стали лучше воевать, и Батюк тоже, наверно, не исключение. Но насколько лучше? Вот в чем вопрос. И для него, и для тебя, и для всякого другого.

Если без поблажек посмотреть на свои собственные дела за те пятнадцать месяцев, что прокомандовал армией, выходило, что воевал по-разному.

Принимал армию в благоприятной обстановке, позади был опыт сталинградских боев и то настроение после большой победы, когда людям кажется, что они и дальше горы своротят.

Но после такого начала, обещавшего, казалось, одно хорошее, пришлось первую же свою операцию проводить в самых тяжелых условиях. Армию спешно перебросили под Харьков,

который снова заняли немцы. Снова пришлось переживать то, от чего уже отвык. Сперва затыкать дыру в тридцать километров, а потом отходить с боями, задерживая немцев на не оборудованных для обороны рубежах. И все это сразу, с колес, едва успев выгрузить армию из эшелонов в мартовскую распутицу, в снег и воду...

Обстановка была незапланированная, не хватало то одного, то другого, тылы выгрузились с опозданием и сразу стали отходить, не успев развернуться.

Не справившегося с критическим положением командующего фронтом заменили, назначили нового. На фронт приехал представитель Ставки; после сталинградского разгрома немцы в марте под Харьковом показали, на что они еще способны. И надо было хоть умереть, но остановить их. Пока останавливали, представитель Ставки трижды был у тебя. В последний раз разговор с ним обернулся так, что подумал: снимет с армии. И хотя делал все, что мог и умел, но, если б сняли, жаловаться было бы не на что, потому что отступал, не мог выполнить приказа – остановить немцев. Пришлось выслушать в последний раз и такое, что лучше бы не слышать: что и армия твоя не сталинградская, и сам ты не командующий, а... Смолчал. Потому что нечего было ответить.

А потом все-таки зацепился в одном месте, во втором, в третьем... Опять не удержался, опять отошел еще на несколько километров и снова зацепился одной дивизией, потом другой... Зацепился и выстоял. Остановил немцев в такой обстановке, в которой, наверно, в сорок втором не остановил бы. Остановил потому, что все-таки после Сталинграда и ты и твои люди были уже не те, что до него.

А после новой переброски началось третье лето войны – долгая, томительная пауза на Курской дуге. Такая томительная, что казалось, нервы не выдержат.

Нет худа без добра. То, что немцы там, под Харьковом, снова напомнили, на что они способны, заставляло готовиться к будущему со старанием, даже выходявшим за пределы приказов. Что немцы летом ударят всей своей силой, какую только соберут, чувствовали все – сверху донизу. Такой глубокой обороны еще никогда не строили. Учили войска, не зная отдыха, как будто каждый день учения решал вопрос о жизни и смерти. Да так оно, по сути, и было.

Еще до начала немецкого наступления придали армии два полка самоходок, бригаду «катюш» и девять полков артиллерии. Приходилось учиться уже не тому, как латать дыры – это превзошел раньше, – а тому, как управлять всей этой музыкой.

Конечная проверка всегда одна – бой. И, несмотря на всю подготовку, на уверенность, что устоим, за первые три дня под немецкими ударами все же отступили – где на три, где на пять, а где и на восемь километров. И только ночью на четвертые сутки смогли наконец донести, что немцы перед фронтом армии остановлены повсюду.

На пятый день бои возобновились с прежним ожесточением. Стороннему глазу могло показаться, что происходит все то же самое. Но это было не так. Немцы продолжали действовать по приказу, уже начиная сознавать его невыполнимость.

А утром шестого дня Серпилин почувствовал, что теперь никакая сила не сдвинет его армию с места.

Он ждал и хотел, чтобы немцы снова пошли на него и истратили себя до конца в бесплодных атаках.

И когда минул тот утренний час, когда немцы обычно начинали, а они не начали, и прошел еще час, и еще, а они все не начинали, он испытал не облегчение, как это бывало раньше, в другие времена, а досаду, которая, в сущности, была чувством превосходства над врагом.

А потом перешли в наступление мы. И севернее – под Орлом, и на юге – под Белгородом, и там, где стояла в обороне армия Серпилина. На том направлении, где она шла, не было больших городов из тех, что на памяти у каждого, и она всего три раза попала в приказы Верховного Главнокомандующего за взятие населенных пунктов, о которых, наверно, те, кто слушал радио, только из этих приказов и узнали.

Зато вместо больших городов на долю армии выпало особенно много переправ через малые и средние реки, через торфяные болота и заболоченные поймы. Почти всегда, когда наступают на широком фронте, какая-нибудь армия прет через такую вот глухомань, то отставая, то обгоняя своих более удачливых соседей и обеспечивая им своими действиями лавры в приказах.

На войне складывается по-всякому. И надо иметь достаточно характера, чтобы сознавать необходимость того не всем заметного труда, который вынесла на своих плечах твоя армия, и не кипеть против соседей. А если шире своих разграничительных линий видеть не способен, если к тому, что там справа и слева у соседей, равнодушен – хоть трава не расти! – значит, ты еще не командарм, а куркуль с высшим военным образованием. Конечно, иной раз хочется в общем хоре такое соло рвануть, чтобы все услышали! Но сольного пения на войне сейчас мало и дирижеры строгие. И это хорошо. Это значит, что она вошла в свои рамки.

Человеку, далекому от войны, наверное, показалось бы диким само понятие: вошла или не вошла война в свои рамки. Как будто у войны могут быть какие-то рамки. Но Серпилин думал именно так.

Мысли о предстоящем летнем наступлении заставили его вспомнить про врачебную комиссию, назначенную через десять дней. Он вспомнил и потрогал ключицу: «Врачи говорят, что срослась хорошо, лучше не бывает. И правда, почти не болит. Но рука все еще как чужая».

Он встал с койки и сделал несколько осторожных движений двумя руками, те самые, которые делал на лечебной гимнастике. Потом несколько раз сжал и разжал левый кулак. Рука все-таки немела, и в пальцах покалывало.

А вообще он чувствовал себя намного лучше, чем когда его привезли сюда. И головные боли прошли, и уже не просыпался, как в первое время, по пять раз за ночь от слишком похожих на жизнь утомительных снов.

На фронте думал, как говорится, о душе, а про тело думать было некогда. Оно ездило на «виллисах», ходило по окопам, сидело над картами, говорило по телефону, два раза в сутки наспех ело, максимум возможного спало мертвым сном ночью и еще час или два дремало на ходу, качаясь назад и вперед на «виллисе». Исполняло все, что от него требовалось, не напоминая о себе. Но зато здесь, в Архангельском, врачи сразу чего только не наговорили. Еще недавно, до аварии, считал, что кругом здоров, а по их словам оказалось, кругом болен. Спорить не стал, выполнял все, что приказывали: уколы – уколы, ванны – ванны, гимнастика, электролечение – все, что требовалось. Раз кругом больной, лечите на полную баранку!

Относясь к лечению как к службе, он легче переносил разлуку с армией. Даже некоторые свидания, для которых надо было ездить в Москву, отменил, чтоб не мешали лечению. С самого начала сделал только одно исключение для жены сына, по выходным вместе с внучкой приезжавшей к нему в Архангельское после «мертвого часа».

Он посмотрел на часы и вышел из комнаты в парк. Адьютант задерживался на пятнадцать минут.

«Что у них там случилось? Может, внучка заболела?» – подумал он и почти сразу же увидел своего адъютанта Евстигнеева, шедшего по аллее к корпусу.

Видимо о чем-то задумавшись, Евстигнеев увидел Серпилина неожиданно для себя, и, когда увидел, на лице его был испуг.

– Что у них там случилось? – спросил Серпилин.

– Анна Петровна не приедет... – На лице адъютанта все еще оставалось выражение испуга.

– Как так не приедет? Почему?

– Вот вам записка.

Адъютант подошел и протянул Серпилину зажатую в кулаке записку.

На половинке тетрадного листа в клетку было написано:

«Здравствуйте, папа! Простите, что я не приехала. Я не могу к вам приехать. Стыдно глядеть в глаза. Анатолий вам все объяснит. Аня».

– Объясняй, коли тебе поручено. – Серпилин медленно поднял глаза от записки на продолжавшего стоять перед ним адъютанта.

Адъютант стоял и молчал. На его круглом, добром юношеском лице были написаны мучение и страх перед тем, что ему предстояло сказать.

– Ну чего молчишь? – нетерпеливо повысил голос Серпилин, всегда, всю жизнь спешивший поскорей узнать плохое, раз уж его все равно предстояло узнать. – Какая там у них беда?

И услышал в ответ совершенно неожиданное и от несоответствия с тем, о чем думал, показавшееся нелепым:

– Мы сошлись с Анной Петровной. Я ее уговаривал, но она сказала, что теперь не смеет вас видеть.

– Что ты ее уговаривал? – все тем же резким тоном, с какого начал, спросил Серпилин и, уже спросив, понял, что Евстигнеев уговаривал ее ехать объясняться вместе, а она не захотела, отправила одного.

Адъютант продолжал стоять руки по швам; разговаривать с ним об этом дальше вот так, в положении «смирно», было неудобно.

– Пойдем на скамейку сядем, – сказал Серпилин. И когда сели на скамейку, добавил: – Фуражку сыми.

Адъютант снял фуражку, вытащил платок и вытер вспотевший под фуражкой лоб.

– Теперь объясняй. Раз тебе велено. Что значит сошлись, когда сошлись?

«Что значит сошлись», – был, конечно, глупый вопрос. Что это еще может значить? Сошлись – стало быть, сошлись. А если хотел этим спросить, насколько все это серьезно, тоже зря. И так видно по лицу адъютанта.

– Вчера сошлись, – послушно ответил тот, вздохнул и снова надолго замолчал.

– Что ты вообще молчаливый, знаю, – сказал Серпилин. – Но все же придется объяснить, как-никак не ожидал от тебя такого доклада. Войди в мое положение.

Серпилин усмехнулся от сознания глупости своего положения, но адъютанту эта усмешка показалась признаком гнева, и он растерялся еще больше.

Что объяснять? Как они оба изо всех сил держались все эти две недели после того, как пошли вместе в кино и поздно вечером, возвращаясь вдвоем и прощаясь у ее двери, оба почувствовали, что это все равно будет? Объяснять, что он не виноват, потому что она вчера сама, первая, обняла его за шею и замерла и заплакала от своего бессилия что-нибудь изменить, а потом опять сама, первая стала целовать его? Объяснять, что он не виноват, если он все равно виноват, потому что допустил до этого, а допустил потому, что сам хотел этого? И он после долгого молчания сказал только одно то, что чувствовал в эту минуту:

– Виноват, – и привычно добавил: – товарищ командующий.

– Какой я тебе теперь командующий, – сказал Серпилин, – раз ты ко мне в родственники записался? – Сказал так, потому что, зная жену сына, ничего другого не подумал.

«Полюбила мальчишку. Если б не полюбила – так просто не стала б с ним – удержалась бы».

– Мы распишемся, – поспешно сказал адъютант. – Я сегодня хотел, но она не согласилась.

– Почему не согласилась? Что ей, мое разрешение на это требуется?

Серпилин встал, и адъютант вскочил вслед за ним, испугавшись, что это конец разговора. Как ни боялся он этого разговора, когда ехал сюда, но то, что весь разговор на этом и кончится, испугало еще больше.

– Сиди, – сказал Серпилин и, толкнув его на скамейку занявшей в предплечье рукой, стал ходить взад и вперед.

Серпилин ходил мимо скамейки, а адъютант водил за ним направо и налево глазами и вспоминал лицо Ани в это утро после того, как она торопливо заставила его встать и одеться ни свет ни заря, еще задолго до того, как проснулась девочка. Вспомнил ее слова о том, что она теперь несчастная, и ее глаза, говорившие, что, несмотря на эти слова, она все равно счастливая. Вспоминал, как она сунула ему в руки эту записку и вытолкала за дверь. И он опоздал к Серпилину потому, что, уже давно приехав сюда, все ходил по парку и не решался явиться с такой запиской. Опоздал впервые за время своей службы.

А Серпилин шагал взад и вперед и думал не про него, а про жену сына. «Значит, не смеет приехать! Прислала вместо себя этого...» – он искоса глянул на адъютанта. То, что она так сделала, было не похоже на нее. Объяснение одно: наверно, написала, как чувствовала – не смеет явиться ему на глаза, не может себя заставить.

«Ну, а как же дальше-то? Так и будем, что ли, с ней через этого объясняться?» – подумал он без всякой злобы на «этого», просто как о нелепости, без которой следовало бы обойтись.

В сущности, он видел жену сына всего пять раз в жизни: два раза в один и тот же день, в феврале прошлого года, когда ждал у себя на квартире вызова к Сталину и когда потом вернулся от него, и три раза теперь, в Архангельском, когда она приезжала к нему с внучкой. Между тем и другим были только ее письма на фронт.

Вышло так, что она даже никогда не звала его по имени и отчеству – Федор Федорович. Тогда, в первый день их знакомства, говорила ему «вы», «сядьте», «покушайте», «прилягте», «отдохните». А потом в первом же письме на фронт написала: «Здравствуйте, папа». Наверное, в таких понятиях была воспитана. Считала, что как же иначе, раз он отец ее покойного мужа.

Письма от нее были частые, но короткие – тетрадная страничка и внизу строчка печатными буквами за внучку, от ее имени.

Так, неизвестные ему раньше, до гибели сына, эта женщина и ребенок постепенно нашли свое место в его занятой делами войны жизни. Он отвечал через два письма на третье – чаще не выходило, переводил деньги по аттестату и посылал посылки – последний раз осенью, с этим самым адъютантом, ездившим по другим делам в Москву.

Тогда-то они и познакомились. Адъютант, вернувшись, описывал ему свое посещение, жену сына называл Анна Петровна и рассказывал, как она поила его чаем. Нет, тогда у них ничего не было. Он бы заметил: у адъютанта всегда все наружу. Честный, как некоторые выражаются, даже до глупости. За это, за возможность доверять ему без колебаний, прежде всего и ценил его.

Серпилин подумал о предстоящей утрате, может быть, и не такой чувствительной для человека менее одинокого, чем он. А что утрата будет, закрывать глаза не приходилось. Ей стыдно перед ним. И будет стыдно при ее характере. Не приехала сегодня, стыдясь того, что его сын убит всего год назад, а она уже с другим. Стыдится, что писала ему на фронт «здравствуйте, папа», стыдится, что сошлась с другим, получая деньги по аттестату от него, от отца убитого мужа. И будет теперь отказываться от этих денег, уже, наверно, думала об этом.

Конечно, он сделает так, чтобы она и приехала и поговорила с ним, чтобы все это не выходило так по-дурачки. Но утрата все равно будет, ее не миновать.

И не просто утрата, а двойная утрата, потому что Евстигнеев, который, конечно, расписется с ней, теперь окажется тоже вроде родственника. А родственников в адъютантах не держат. Придется от него отказаться, хотя отказаться трудно: привык к его молчаливому присутствию, уже второй год на войне, день за днем рядом.

«И чего она в нем нашла?.. Очень просто, чего нашла: молодой и сильный. И ласковый, наверно, как телок. Чего же его не любить? И не таких любят. Хуже, что ли, сына? – с обычным своим стремлением к справедливости подумал Серпилин. – А баба второй год без мужика. Почему второй? – поправил он себя, вспомнив, что сын до своей гибели больше года не видел жены. – Не второй, а третий. Удивляться приходится, что так долго одна прожила».

Серпилин посмотрел на адъютанта, все продолжавшего водить за ним глазами, пока он ходил, и сказал:

– Голову отвертишь. Подвинься!

Закинув руки за спинку скамейки, он еще раз искоса взглянул на адъютанта. Тот сидел теперь, уставившись на кончик сапога. Пока стоял во весь рост, казался мужчиной. А вот так, сидя без фуражки, выглядел мальчиком – насупился и губы оттопырил, как маленький.

– Давай подробно выкладывай.

Адъютант еще больше оттопырил вздрагнувшие губы и хотя и тихо, но твердо сказал:

– Подробно – не буду, товарищ командующий.

Вообразил, что у него спрашивают подробности, как все это у них вышло.

– Как так «не буду»? Все же вдову за себя берешь, да с четырехлетним ребенком, да старше себя на шесть лет. На все ли готов, обо всем ли подумал? Про это спрашиваю!

– Ничего я не знаю и даже не думаю, – с каким-то счастливым отчаянием громким шепотом сказал адъютант. – Она еще сама не сказала мне, как будет. Как скажет, так и будет.

– «Скажет, скажет», – проворчал Серпилин. – Что ж теперь, выходит, женщина за тебя еще и решать сама должна?

Он хотел добавить еще что-то в этом же духе, но вдруг пришедшая в голову мысль остановила его.

– Что, она у тебя первая в жизни, что ли?

– Первая, – тихо сказал адъютант и, подняв на Серпилина глаза, посмотрел ему прямо в лицо так пристально, словно от будущих слов Серпилина и даже от выражения его лица в эту минуту зависит, будет ли и дальше так же, как до этого, любить и уважать его этот вымахавший в сажень мальчик с офицерскими погонами на плечах.

«Она-то, конечно, не забыла и что старше тебя на шесть лет, и что в приданое за ней возьмешь чужого ребенка, сто раз все вспомнила, – чувствуя на себе этот взгляд, подумал Серпилин. – И все же как ни страшно, а решилась. Значит, поверила и в твою любовь и в свою силу».

И еще об одном подумал – о войне, о том, что вдовья женщина с ребенком бросается очертя голову на шею тому, кто через неделю будет вновь на фронте, вдали от нее.

А адъютант, глядя на спокойное, печальное лицо Серпилина, с возобновившимся чувством вины перед ним подумал, что лицо командующего стало таким потому, что он, верно, вспомнил о своем убитом сыне.

– Я маме сегодня написал, – сказал адъютант, продолжая глядеть в лицо Серпилина.

«Ну вот, стало быть, теперь еще и мама, – с тем же печальным выражением лица кивнув головой, подумал Серпилин. – Сидит за тридевять земель и ждет каждый день треугольничка, что жив и здоров, и боится каждый день извещения, что „пал смертью храбрых“, а теперь сразу из одного треугольничка узнает про себя, что и свекровь и бабушка. Но о самой существенной для нее перемене она из этого письма все-таки не узнает. А самая существенная для матери перемена, которая к тому времени, как она получит письмо, скорей всего уже произойдет, будет не та, что сын женится на вдовой женщине с ребенком, а та, что он перестанет из-за этого быть адъютантом у командующего армией и начнет снова служить в строю, ближе к фронту, а значит, и к смерти. И ничего тут не поделаешь, потому что держать его дальше в адъютантах нельзя, а пристраиваться в тыловые канцелярии он сам не захочет».

– Вот что, Анатолий. – Серпилин непривычно для себя назвал адъютанта по имени, бессознательно стремясь смягчить этим то, что предстояло сказать. – Если нуждаешься в моем благословении, считай, что получил. Как вам обоим лучше, так пусть и будет. Но хочу внести ясность. Когда вернемся на фронт, подумай о новом месте. Ленин еще в двадцатом году нам посоветовал, чтобы родственники в одном учреждении не служили. – Он улыбнулся, еще и этой улыбкой смягчая бесповоротность сказанного.

– Я понимаю. Я ей сегодня утром уже сказал, – ответил адъютант, и по лицу его было видно, что не врет, действительно сказал ей, но видно было и другое, как поразила его быстрота, с которой принял это решение Серпилин.

– В какую она завтра смену? – спросил Серпилин о жене сына.

– Во вторую.

– Скажи, пусть завтра днем до работы ко мне приедет. – Он остановился, вспоминая, какие и когда у него завтра процедуры. – Дай ей «виллис», пусть к тринадцати часам приедет. Одна. – И, увидев на лице адъютанта тревогу, добавил: – Не бойся, не обижу ее. Ты в моих глазах не хуже никого другого, а может, и лучше. – Сказал, подумав не только о нем и о ней, но и о своем покойном сыне. – Поезжай.

Адъютант вскочил и надел фуражку.

– А как ей, дочку с собой к вам брать?

Наверно, решил, что ей будет легче приехать сюда с ребенком.

– Сказано: одной. – Серпилину хотелось увидеть внучку, но при завтрашнем разговоре, а может, и слезах девочка ни к чему, это не для нее.

Адъютант откозырял и пошел по дорожке.

– Евстигнеев! – окликнул его Серпилин.

– Слушаю вас, товарищ командующий!

– Как там с вызовом?

– Обещали завтра оформить.

– Если завтра оформят, послезавтра готовься ехать.

– Ясно. Разрешите идти?

– Иди.

Адъютант снова повернулся и пошел. А Серпилин стоял и долго, до поворота, глядел вслед. И выражение лица у него было такое растерянное, что адъютант, наверное, удивился бы, увидев это выражение на лице человека, который только что, казалось, так легко и быстро, в два счета решил его судьбу.

Растерянность Серпилина относилась к самому себе. Сказав адъютанту, что тот, на его взгляд, не хуже всякого другого, а может, и лучше, он выдал этим меру своей привязанности к нему.

В адъютанты попадают по-разному. Иногда благодаря чьим-то домогательствам. А иногда неизвестно почему. Раньше Евстигнеев был адъютантом у Батюка. Отправив своего Барабанова «расти» на командира полка, Батюк тогда же взял из офицерского резерва этого Евстигнеева. И как-то за ужином, одобрительно отозвавшись о нем, что отлично водит машину, подменяет водителя, сказал про него, что это сын одного его покойного однокашника, с которым вместе кормили вшей еще в германскую войну, потому и взял в адъютанты, когда подвернулся.

Это было все, что знал Серпилин о Евстигнееве к тому времени, когда тот стал его собственным адъютантом.

Когда Серпилина вдруг вызвали в Москву, он отпустил своего прежнего адъютанта, чтоб зря не болтался, попросил, чтоб куда-нибудь пристроили. А вернувшись из Москвы с назначением и уже не застав Батюка, с удивлением увидел представившегося ему Евстигнеева. То ли Батюк не взял его с собой, то ли Евстигнеев сам захотел остаться в армии, Серпилин не стал спрашивать почему. Подойдет – останется, не подойдет – подберут другого.

По его поведению в первые дни увидел: не старается, чтоб оставил его при себе. И это было первое, что тогда понравилось ему в Евстигнееве. Был молчалив, исполнитель, грамотен, хорошо ориентировался по карте и на местности, ни разу не застрял и не заблудился, когда посылал его с приказаниями, всегда находил тех, к кому послан, что на войне свидетельство не только хорошей ориентировки, но и храбрости. Чаще всего не находят не потому, что не нашли, а потому, что не рискнули добраться. Этот всегда находил.

А через полтора месяца, под Харьковом, показал, что способен и на большое.

День был тяжелый с утра до вечера. Началось с того, что утром, поехав в одну из своих отходивших дивизий, наскочили на чьи-то, неизвестно чьи даже, перепутавшиеся и отступавшие чужие тылы. Свои или чужие, а пришлось задержаться для наведения порядка: в армии чужого нет!

Пока доехали до своей дивизии, попали под первую бомбежку, потом, когда добрались из этой дивизии в другую, – под вторую. А когда к концу дня возвращались с передовой на свой командный пункт, заехали под обстрел тяжелых немецких орудий, лупивших по перекрестку дорог. Водителя ранило в спину осколком. И «виллис» перевернулся бы, если бы не Евстигнеев, успевший сзади перехватить баранку и вывернуть машину. Переждав налет в залитом грязью кювете, мокрые, грязные по уши, снова влезли в машину. Водителя положили сзади, а за руль сел Евстигнеев.

Казалось, уже все позади, как вдруг из низких облаков, прямо над дорогой, вынырнули два «мессершмитта» и с визгом прошли над машиной. Евстигнеев, затормозив, всем телом навалился на Серпилина, подмяв его под себя и чуть не вывалив из «виллиса». Серпилин даже не сразу понял, что адъютант хотел закрыть его собой. Понял только потом, когда все кончилось, «мессершмиттов» как не бывало, ушли снова в облака, смотровое стекло в трещинах, а пуля у Евстигнеева в предплечье, в мякоти. Это уже потом выяснилось, а сперва он ничего не сказал, вел машину еще три километра до командного пункта. Спас или не спас, когда кинулся и прижал тебя к сиденью, трудно сказать: пуля – дура. Может быть, спас этим как раз самого себя. Но хотел спасти тебя, о себе не думал.

Когда Евстигнеева отправили на неделю после этого в госпиталь, Серпилин, подписывая на него наградной лист, взял посмотреть его личное дело.

Отец – комполка, убит в 1929 году на КВЖД. Мать – машинистка. Единственный сын, пошел на фронт добровольцем восемнадцати лет в июле сорок первого. Медаль «За отвагу», сержант, ранение, госпиталь. Ускоренный выпуск пехотного училища, окончил с отличием, получил лейтенанта и снова на фронт.

Биография недлинная, но вызывала уважение.

В адъютанты к Батюку навряд ли все-таки с неба свалился. Мелькнула мысль: может быть, мать по знакомству написала, попросила за сына?

Когда адъютант вернулся из госпиталя, Серпилин от себя сказал ему «спасибо» и посмеялся, что от его ручищ неделю ходил с синяками. А от лица службы привинтил на грудь «Звезду».

С тех пор продолжали служить вместе, должно быть любя друг друга каждый по-своему. И служили бы и дальше, если б не сегодняшние новости.

«Да, тяжело его отрывать от себя. Ни разу не подвел, не вышел из веры, ни разу никому не снагличал, пользуясь своим положением адъютанта, – тоже много значит! Пожалуй, сможет пойти помощником начальника штаба полка по разведке: достаточно смелый для этого. Небось уже подъезжает сейчас туда, к своей. Особенно если сам за рулем. Спешит обсудить с ней. А нам тоже надо идти ужинать, есть свой творог с простоквашей. Каждому свое...»

Серпилин вздохнул: жизнь против его воли сама отшвыривала от него людей, то одного, то другого. Не вернуться ли в комнату за лежавшей там на столе коробкой «Казбека», не закурить ли по такому случаю? Но не вернулся, не стал нарушать уговора с самим собой – не курить до выписки.

По дороге в столовую нагнал шедшего туда же Батюка. Днем Батюк был в пижаме, а теперь в полной генеральской форме.

– Жену встречать ездил, – сказал Батюк.

– Встретил?

– А ну их к бесу! – Батюк сердито махнул рукой. – Обещали доставить и не доставили. Лучше б не обещали. Посадили ночевать в Куйбышеве, говорят, в Москве погоды нет. А как нет, когда она есть!

Серпилин посмотрел наверх. Небо было густо затянуто тучами.

– Может, дали прогноз на грозу?

– Какая гроза? Наверное, у пилота жена в Куйбышеве, вот и вся гроза. Разве это плохая погода?

Серпилин не стал спорить. Какая бы ни была погода, а Батюк надеялся встретить сегодня жену, которой не видел с начала войны. Понять можно!

– Федор Федорович, – пройдя рядом с ним несколько шагов, сказал Батюк, – когда ты был у товарища Сталина, он ничего про меня не говорил и не спрашивал?

Наверное, его еще утром тянуло спросить об этом.

– Меня ни о чем не спрашивал.

– А сам говорил? – настороженно спросил Батюк.

В ответ на прямой вопрос пришлось сказать, как было; что когда он спросил Сталина, на какую армию назначен, то Сталин ответил, что на место Батюка, и объяснил почему.

Понимая значение, которое имело для Батюка все сказанное о нем Сталиным, Серпилин повторил слово в слово то, что услышал тогда: что товарищ Батюк засиделся на армии и есть мнение его повысить, дать возможность шире развернуть свои способности!

То, что он почувствовал за словами Сталина какую-то непонятную ему тогда иронию, добавлять не стал, счел, что делать этого не обязан, да и зачем?

– Да, – задумчиво сказал Батюк, – возможно, проектировал тогда повысить, а потом какие-то друзья там, наверху, нашлись и ножку мне подставили... Спасибо, что сказал. Будет над чем подумать. – Потом вздохнул и добавил: – Так и не вызвал меня к себе оба раза: и когда на тот, богом забытый фронт посылал для укрепления, и когда на гвардейскую армию назначал.

То, что Сталин, так хорошо знавший его по гражданской войне, ни разу за всю эту войну так и не вызвал к себе, продолжало тревожить Батюка, хотя он и старался объяснить это в лучшую для себя сторону – просто непомерной занятостью Сталина. А между тем рядом с ним шагал человек, которого Сталин все же нашел время тогда, год назад, вызвать к себе.

– Мне Захаров объяснял, – снова помолчав, сказал он, – что тебя тогда по твоему письму о Гринько вызывали?

– Да.

– Ну и чего?

– Сказал, что вернут, если найдут.

– Видать, не нашли.

– Умер он, – коротко ответил Серпилин.

– Да, не дождался своего часа Павел Ефимович, – сказал Батюк. – А может, и вообще судьба его была б другая, кабы не поехал тогда к нам на Дальний Восток этот, знаешь его... – Батюк назвал хорошо известную в армии фамилию. – Ломал там дрова!

И вдруг без всякой связи с предыдущим сказал:

– А Евстигнеев, оказывается, у тебя до сих пор! Возвращаюсь с аэродрома, вижу, он отсюда на «виллисе» выезжает. Выходит, пришелся ко двору, раз «Звезду» ему дал.

– «Звезду» – за дело, – сказал Серпилин. – Был бы не мой адъютант, мог бы за это и «Знамя» получить. Чего ты его тогда оставил, с собой не взял?

Батюк покачал головой.

– Чудно рассуждаешь. Думаешь, только ты это испытал, когда в Москву вызывали: куда еду, знаю, а что будет, не ведаю! У меня тоже, когда вдруг приказ: «Армию сдать и явиться», – кошки скребли. Все, что за душой было, перебирал, пока ехал. Куда ж тут за собой адъютанта с

фронта тащить? Срывать человека с места, не зная, куда и для чего? Тем более парень стоящий, не проныра. Это хорошо, что он у тебя.

«Да, это хорошо, что он у меня, – подумал Серпилин. – Для нее, во всяком случае, оказалось хорошо», – подумал он о жене сына.

Хотел было под настроение объяснить Батюку, что приходится теперь расставаться с Евстигнеевым, но не стал; они уже подходили к столовой.

– После ужина еще погуляем? – спросил Батюк.

– Пойду к себе, уже нагулялся сегодня, – слукавил Серпилин, помнивший, что приглашен пить чай, и не хотевший опаздывать.

– Что-то сердце сегодня щемит, на воздух тянет, – сказал Батюк. – Может, и правда погода меняется. С одной стороны, кулаком еще доску перешибу, а с другой стороны, как вспомнишь: в мировую войну одно ранение, в гражданскую – три, в эту – тяжелое, если все вместе сложить... Иногда все хорошо, а иногда защежит, и подумаешь: вот довоюешь до последнего дня, до победы, и помрешь!

– С чего это вдруг? – спросил Серпилин. – Я, наоборот, считаю, что победа всем нам здоровья прибавит. Только жить и жить, когда война кончится!

И, вспомнив о предстоящем отъезде на фронт, подумал о Львове, корпусном комиссаре, а теперь генерал-лейтенанте, о котором, заговорив про Дальний Восток, помянул Батюк.

– Между прочим, Львова при формировании нашего фронта членом Военного совета назначили.

Батюк даже присвистнул.

– Эту новость не слыхал еще! И куда его только не шлют с места на место! За два года, считай, на пятом фронте! Ни с одним командующим не уживается. И все как с гуся вода. Не завидую вашему командующему фронтом – работать с таким членом Военного совета.

– Не знаю. Первое впечатление от него у меня хорошее. – Серпилину не хотелось спорить с Батюком, но это была правда. – Может, и лишнее про него говорят. Дурная слава прилипчива.

– А сколько ты его видел? – спросил Батюк.

– Пока один раз.

– Ладно, продолжай знакомиться, – усмехнулся Батюк.

## 3

Женщина, к которой Серпилин собирался идти пить чай, сидела одна у себя в комнате и ждала его. Чайник, накрытый сверху салфеткой, а поверх нее ушанкой, стоял у нее под рукой. И, кроме этого чайника, сахарницы и тарелки с печеньем, на столе ничего не было. Она заваривала чай заранее, потому что не любила хозяйничать.

Комната, в которой она сидела, была казенная, но она любила ее за чистоту и отсутствие лишних вещей, в которых сейчас, во время войны и разлуки с близкими, есть что-то бессмысленное. Она сидела, положив на стол свои нравившиеся Серпилину красивые руки с длинными пальцами и коротко обрезанными ногтями, и думала о том, что ей сегодня сорок лет и хорошо, что в этот день к ней придет человек, которого она хочет видеть.

Она не собиралась говорить Серпилину, что ей сегодня сорок лет, потому что это могло бы повернуть их разговор как-то по-другому, не так, как она хотела. Он бы мог, пожалуй, вернуться к себе в комнату за бутылкой коньяка, стоявшей у него на столе рядом с папиросами, как он смеялся: для борьбы с соблазнами. А ей хотелось, чтобы их разговор сегодня стал продолжением того, вчерашнего, после которого она, кажется, начала понимать, почему ее так тянет к этому некрасивому и немолодому, старше ее на десять лет, человеку.

Она знала Серпилина уже давно, с тех пор как восемь лет назад ее, убитый теперь, муж познакомил их на вокзале; и муж и Серпилин уезжали тогда из академии на большие маневры в Белоруссию. Потом она видела Серпилина мельком еще два раза и смотрела на него тогда, до войны, с интересом и неприязнью, потому что он сам неприязненно относился к ее мужу. Так говорил ей муж, и она верила этому.

Но все эти встречи почти не запомнились ей, а запомнилась та, последняя, уже во время войны, в декабре сорок первого, когда муж был убит при выходе из окружения и она заходила к только что вернувшемуся из госпиталя и вновь уезжавшему на фронт Серпилину, чтобы узнать, как это было.

Эта встреча заставила ее много думать о Серпилине и тогда, сразу, и еще больше потом, через год.

Серпилин, когда она пришла к нему, солгал ей, что ее муж пал смертью храбрых, хотя на самом деле все было иначе. Как потом объяснил ей другой человек, ее муж не пал смертью храбрых, а без документов и переодевый был встречен ими в лесу и, выходя после этого вместе с ними из окружения, где-то по дороге застрелился, не выдержав тяжести физических и нравственных испытаний.

Может быть, она так и не узнала бы всей правды от этого человека, если бы не напросилась на нее, сказав, что Серпилин до войны плохо относился к ее мужу и что ее мучает мысль, действительно ли все было так, как сказал ей Серпилин.

Эта мысль мучила ее, потому что тогда, при разговоре с Серпилиным, ей показалось, что он чего-то недоговорил, сделал странную паузу перед тем, как сказать, что ее муж пал смертью храбрых. Словно заколебался, что ей ответить.

И тогда этот человек, видимо любивший Серпилина, оскорбился за него и ответил, что, наоборот, Серпилин слишком хорошо отнесся тогда к ее мужу, потому что, как он считает, ее муж в той обстановке за свою трусость заслуживал расстрела, и если бы это решал он один, без Серпилина, так и было бы сделано.

Она не заплакала и не вскрикнула от его жестокости, но потребовала от него, раз он посмел ей это сказать, объяснить подробно, как все было. Он объяснил, и она, понимая, что все это правда, и молча выслушав эту правду, спросила только: «Это все?» – и, услышав: «Да, это все», ушла от него, не прощаясь.

С тех пор у нее сохранилось чувство вины перед Серпилиным.

Три недели назад здесь, в Архангельском, в списке прибывших накануне вечером она увидела фамилию Серпилина и утром, на медицинской летучке, оставила его за собой, хотя его могли наблюдать и другие хирурги. Сделала так потому, что хотела ближе узнать этого занимавшего ее мысли человека.

Однажды ей даже захотелось написать ему. Это было после Сталинграда, когда она прочла его фамилию среди фамилий других награжденных орденами генералов. Но подумала, что это будет глупо. Потом ей уже не приходило в голову писать ему, но она следила за его фамилией в газетах и радовалась, что он жив и командует армией. И для такой радости у нее были свои личные причины.

Острота их была связана с воспоминаниями о собственном муже. За несколько лет до войны муж, которого она приучила посвящать ее в свои служебные дела больше, чем это обычно принято у военных, рассказывал ей о своих стычках с Серпилиным, который со странным для такого умного человека упорством не желает понять, что незачем воспитывать слушателей академии на военных примерах, подчеркивающих сильные стороны деятельности германского генерального штаба. «Это наш будущий противник, и слушателей академии незачем размагничивать преувеличенными представлениями о его силе».

Сердясь на Серпилина, а может быть, ревнуя к его авторитету у слушателей, муж говорил тогда и разные другие вещи, которые исчезли из ее памяти. Остался только их общий смысл, с которым она была тогда согласна, потому что смотрела на будущую войну глазами мужа.

Однажды муж вернулся из академии поздно вечером – она хорошо запомнила, как это было, – и возбужденно сказал, что сегодня Серпилин поймал его с глазу на глаз и пытался найти с ним общий язык, обратиться в свою веру: «Трезвое сознание силы предполагаемого противника – залог собственной силы», «Лучше переоценить, чем недооценить», «Недовооружить наших слушателей знанием противника – значит разоружить их» и все прочее из его репертуара. И все это свысока, даже не допуская мысли, что я веду свой курс, тоже думая о пользе армии. Пришлось отбриться. Разошлись, не простившись.

Она запомнила этот разговор не только из-за волнения мужа, но и потому, что через неделю после этого Серпилина арестовали. Она не подумала, что ее муж, полковник Баранов, мог куда-то написать о своем разговоре с комбригом Серпилиным, не думала тогда и не думала сейчас. Ее просто ужаснуло: только что говорили, спорили, только что ее муж сердился на Серпилина, возмущался им – и вот его уже нет...

Узнав об аресте, муж развел руками и сказал: «Достукался» – так, словно только этим все и могло кончиться.

Потом, задним числом, вспоминая это «достукался», она доказывала себе, что ее муж не мог быть причастен к этому; если бы был причастен, не посмел бы сказать при ней это слово.

Она думала так, но Серпилин мог думать иначе. А может, и думал.

А вскоре все это ушло куда-то далеко, потому что случилось несчастье в их собственной семье, и ее муж перед лицом этого несчастья повел себя так, как, по ее представлениям, не мог и не должен был вести себя мужчина.

Забрав с собой младшего сына, она уехала к своей матери в Саратов и уже второй год жила и работала там, почти приучив себя к одиночеству, когда Баранов приехал за ней и умолил ее вернуться.

В день его приезда туда, в Саратов, она острее, чем когда-нибудь, почувствовала, как он сильно любит ее. Нелегкое сознание, если у тебя самой к этому времени осталось только чувство жалости сильного к слабому да привычная, но уже не дающая прежнего счастья потребность близости.

Есть женщины, которые даже испытывают необходимость чувствовать себя сильнее мужчины. Она знала женщин, для которых как раз это составляло главную остроту счастья, но сама

не принадлежала к ним. Жизнь на правах сильнейшего изнуряла ее бессмыслицей душевного неравноправия.

А потом началась финская война, и полковник Баранов уехал на эту войну. Он три месяца воевал там, в оперативном отделе одной из армий, а она и дети боялись за его жизнь и ждали от него писем.

И он вернулся, и не просто так, а с орденом на груди.

Но когда после всех положенных радостей такой встречи они остались на всю ночь, до утра, вдвоем, без детей, эта ночь оказалась ужасной, потому что у него сдали нервы и он на правах слабейшего, на которых уже привык жить рядом с нею, стал, захлебываясь, говорить, говорить без конца, почти в истерике от всего, что он видел на фронте.

Он попал не на Карельский перешеек, где после беспорядков первых недель, начав заново, хотя и дорогой ценой, все-таки сделали все, что требовалось. Он попал на север, в Карелию, в ту самую неудачливую из всех армий, от которой поначалу больше всего ждали, но которая, так и не успев сделать ничего существенного, понесла потерь больше других.

То, что он рассказывал о большой крови – раньше она от него всегда слышала только о малой, – не так уж удивило ее, потому что она работала хирургом в госпитале и знала, какое количество раненых поступало с этой войны. Но то, как он отзывался о нашем неумении воевать, с каким самооплевыванием и презрением не только к другим, но и к самому себе говорил об этом, поразило ее. Она почувствовала не только силу пережитого им потрясения, но и его собственную слабость перед лицом этого потрясения.

Она слушала его и молча вспоминала все то, совсем непохожее, что он говорил ей о будущей войне за год, и за два, и за три до этого.

Выговорившись и обессилив, муж сказал ей тихим и страшным шепотом то, что потом еще несколько раз повторял ей в минуты откровенности, совпадавшие у него с минутами слабости:

– Боюсь немцев. Если нападут на нас в нашем нынешнем состоянии, даже не знаю, что они с нами сделают!

Так это было в ту ночь. И она помнила об этом в сорок первом году, когда провожала его на войну. Ею владел не только страх женщины, матери двух его сыновей, но и другой страх: каким он будет там, на этой, наверно, действительно страшной войне? Ведь он так боится ее, хотя, уезжая, выглядел одинаково с другими людьми!

И вот прошло три года войны, и она, потеряв мужа, отправив на фронт старшего сына и сама пробыв там два года из трех, встречала свои сорок лет здесь одна, в этой казенной комнате, и кроме своих сыновей, которые не могли приехать, потому что один был на фронте, а другой в военном училище, хотела видеть сегодня только одного человека – Серпилина. Человека, которого она заново узнала здесь всего двадцать дней назад. «Нет, девятнадцать», – сосчитала она и вспомнила, как он сидел перед ней в первый день в операционной, отдыхая от боли после того, как она сняла с него неподвижную повязку и осмотрела ключицу. Улыбнувшись сквозь непрощедшую боль, он сказал, что у него мурашки в пальцах, и внимательно посмотрел на нее.

– Я вас хорошо помню, вы были у меня в декабре сорок первого дома.

– Да, – сказала она.

– Только в первый момент усомнился, потому что у вас теперь другая фамилия. Вышли замуж?

– Нет, – сказала она. – У меня всегда была другая фамилия. Когда я выскочила в двадцать втором году за военного, не захотела сместить своих родителей, беря фамилию мужа. Они у меня оба из земских врачей, люди вольных взглядов, сами расписались только в тридцать втором году, когда им вдруг понадобилось получать паспорта. Так и осталась жить с девичьей фамилией. А вам тогда назвалась Барановой, чтобы сразу поняли, кто я.

– Где ваш сын? Воюет?

Оказывается, он помнил то, что она сказала ему тогда про старшего сына. Она ответила, что ее сын теперь старший лейтенант и воюет на Третьем Украинском фронте, в противотанковой артиллерии. И не был за все это время ни разу ранен.

– Видели с тех пор?

– Один раз.

– А младший?

Оказывается, он запомнил и это, про младшего. Она ответила, что младшему исполнилось семнадцать лет и он пошел в артиллерийское училище.

– Вообще-то правильно. Хорошо бы, война кончилась, прежде чем их выпустят. А сами вы, помнится, служили тогда в каком-то из московских госпиталей. На фронт не попали?

– Попала. Наш госпиталь тогда же отправили на Западный. А здесь оказалась, как и вы, после ранения, – добавила она. – А потом здесь и оставили.

– Куда вас ранили?

– В грудь, в плечо и в лицо во время бомбежки госпиталя.

Он поморщился.

– Чего поморщились?

– Не могу привыкнуть к тому, что убивают и ранят женщин. Хотя пора бы. У меня в армии их ни мало ни много... – Он не договорил, посмотрел ей в лицо и, кажется, только теперь увидел тот довольно заметный шрам над бровью, о котором она помнила, считая, что этот шрам портит ее. Вот и весь их первый разговор, после которого было много других, иногда совсем коротких – когда он приходил к ней на осмотр или на лечебную гимнастику, – а иногда длинных, когда они несколько раз вместе гуляли после ужина в парке.

Вчера, когда она впервые позвала его к себе, их разговор начался с вопроса, который все равно рано или поздно пришлось бы задать ему:

– Почему вы мне тогда сказали неправду про Баранова?

– Неправду? – не отрицая и не подтверждая, переспросил он. – А кто сказал вам правду?

С кем говорили после меня?

– Со Шмаковым, с вашим комиссаром.

– Когда с ним говорили?

– В сорок втором году.

– Давно потерял из виду. – Он ничего не добавил, словно считал вопрос исчерпанным.

Но она этого не считала и вновь спросила у него то же самое: почему он сказал ей тогда неправду?

– А вы что, непременно хотели тогда от меня правды?

В глазах его мелькнул отблеск чего-то жестокого, что иногда и раньше проскальзывало в его разговорах с ней, напоминая, что этот человек не только способен жалеть людей, но и способен посылать их на смерть.

– Да, я хотела правды, хотя и боялась ее. Во всяком случае, ложь мне была не нужна.

– А мне показалось – нужна. Хотя бы для сына. После того как узнали от Шмакова, написали сыну все, как было в действительности?

– Нет, не написала. Но когда потом увиделась с ним, сказала. Он самый близкий мне человек, и я не могла заставлять его думать другое, чем думала я.

– Не пожалели его.

– Я его люблю, а не жалею.

– Может, и правы, – сказал он. – Меня жена ругала тогда, что соврал вам.

Он не сказал: «Моя покойная жена», но она знала, что жена его умерла. И знала когда. Такие вещи в госпиталях и санаториях знают с первого дня.

Она никогда не видела покойной жены Серпилина и сейчас не хотела представлять себе, какой она была, его жена, и как выглядела. Но, услышав ответ Серпилина, подумала о ней, что,

наверное, это была сильная женщина, под стать ему. Подумала о ней, как о себе самой, а о нем, как о человеке, которого хорошо знает. Она понимала, что до конца оценить нравственную силу такого человека, как Серпилин, можно только там, на фронте, где он воюет, а не здесь, где он лечится, но все равно чувствовала в нем эту силу.

Ей нравилось, как он ходит по аллеям Архангельского своей быстрой, негенеральской походкой, в своем старом синем лыжном костюме, про который не то серьезно, не то смеясь говорит, что когда-то сдавал в нем нормы на значок «Готов к труду и обороне». И в его походке и в его жилистой, широкоплечей фигуре чувствовалась незаурядная выносливость, связанная у таких, как он, людей не столько с физическим здоровьем, сколько с силой духа.

Нравилось ей и его длинное, совсем некрасивое, но сильное и умное лицо, и глаза, где-то в глубине продолжавшие оставаться печальными и когда он улыбался, и когда он сердился, как это было вчера, когда она сказала ему, что у нее там, на фронте, бывали приступы злобы на них, генералов, когда в госпиталь день за днем, ночь за ночью продолжали, как по конвейеру, идти всем своим видом вопившие о спасении, изорванные, изрубленные осколками, посиневшие от контузий, истерзанные людские тела. И так каждое наступление...

– Неужели вы не можете воевать как-то иначе, как-то лучше, чтобы всего этого было хоть немного меньше? – спросила она, подумав в эту минуту не только о тех тяжелораненых, которые чаще всего попадали к ней, как к ведущему хирургу, но и о тех двоих, еще ни разу не лежавших вот так ни на чьем операционном столе, о собственных своих сыновьях.

– Видимо, не можем, не способны, – зло ответил он. – И никогда не будем способны сделать так, чтобы у вас работы не было, – добавил он еще злее, – сколько бы ни старались. А если думаете, что мало стараемся, делаем хоть на грош меньше того, на что способны, так возьмите и плюньте мне в рожу, чем разговаривать. Какой может быть со мной разговор, раз вы так думаете? – сказал беспощадно, а глаза где-то в самой глубине продолжали оставаться печальными.

– Я так не думаю.

– А не думаете, так не трепитесь на такие темы, от которых и без вас три года душа болит. И будет болеть до последнего дня войны. Или хоть держитесь от них подальше, пока обстановка позволяет.

Ее задело не то, что он оборвал ее и сказал «не трепитесь», а эти последние слова – насчет обстановки. Она услышала в них незаслуженный упрек себе, что находится здесь, в Архангельском, а не на фронте.

– К вашему сведению, – сказала она зло и спокойно, – я неделю назад прошла медицинскую комиссию и написала рапорт: прошу отправить меня снова в армейский госпиталь. Еще какие-нибудь вопросы есть?

– Прошу прощения. – Он ощутил глубину ее обиды. – Может, я выразился по-дурацки, но и вы меня тоже не по-умному поняли. Как могли подумать, что я вам, женщине, сделаю такой упрек? Не знаю, как кто, а я лично считаю, что по гроб обязан каждой женщине, которая пошла на фронт. И был бы рад обойтись без этого. Просто хотел сказать вам, чтоб старались освобождать себя от таких мыслей. Это закон войны, нельзя все время об этом думать.

– Хорошо, – сказала она, поверив, что он не отступил перед ее обидой, а действительно думает так, как сказал, и примирительно положила руку поверх его тяжело лежавшего на столе кулака. – Не обиделась. Поняла, вопрос исчерпан... И нечего на меня кулаки сжимать!

Он разжал кулак и усмехнулся.

– Это не на вас. На войну, наверно. – И мягко, другим голосом добавил про то же, о чем говорили до этого: – Вот вы про то, что гоним их к вам на стол. Да, гоним. Но сколько же перед каждой операцией ломаем голову, какая она ни на есть умная или глупая, – над тем, как сделать, чтобы он к вам на стол не попал! Грош цена тому, кто эти слова: «Беречь людей» – только для сотрясения воздуха произносит! Их не говорить, а закладывать в план операции

надо! Так у нас, так и у вас, наверно. Разве у вас хорошим врачом считают того, кто громче всех над больным охает?

После этого как-то само собой зашла речь о том, почему она стала хирургом. Она сказала, что теперь, когда давно уже считает это своим призванием, трудно разобраться, как все было вначале.

– Я была близка с родителями, а наш дом жил медициной. Наверно, сыграла роль вера в них, в то, что эти два лучших на свете человека занимаются самым лучшим на свете делом. Да и студенты от нас не вылезали. Отец был из тех профессоров, к которым домой ходят...

Он перебил ее, спросил: живы ли родители? Она ответила, что нет, умерли оба, один за другим, в последний предвоенный год. И продолжала говорить о себе с готовностью, даже удивившей ее самое.

Начав вспоминать про свои два года на фронте, вдруг сказала:

– Хотя и расхвасталась тут перед вами, не думайте, что я человек без сучка и задоринки. Я и с сучками и с задоринками. Даже прошлой осенью, на сороковом году жизни, роман имела с одним выздоравливающим подполковником.

– Ну и как, он выздоровел? – как-то непонятно, по смыслу словно бы шутя, а по выражению лица серьезно, спросил Серпилин.

– Выздоровел.

– А вы? – спросил он так, что она почувствовала: нет, не верит в тот легкий тон, который она взяла, и понимает, что ей почему-то необходимо сказать ему об этом.

– Поставила точный диагноз и выздоровела, – ответила она все в том же легком тоне, от которого не могла избавиться. – Я же хирург, у меня все должно быть просто и ясно.

– Не верю тому, как вы говорите о себе, – сердито сказал он.

И правильно сделал, что не поверил. Все это было совсем не просто, и никакой она не хирург по отношению к себе самой; попробовала и не смогла отсечь в себе то чисто женское, что влекло ее к тому человеку, от всего остального человеческого, и тоже женского, что сопротивлялось в ней этой близости, догадывалась о его духовной нищете. Нравственной близости не могло получиться и не получилось, а физическая так быстро превратилась в какую-то торопливо повторяемую по ночам безрадостную гимнастику, что оборвать все это оказалось проще, чем длить. Она тогда бранила себя за это уродом и насмехалась над собой: занимаюсь решением душевных уравнений там, где все ясно как дважды два – четыре.

И вот с глупым видом согрешившей девицы зачем-то выложила все это перед человеком, который ей действительно и серьезно нравился, который сам никогда не спросил бы ее, сорокалетнюю женщину, ни о чем подобном. И вряд ли хотел слышать это от нее.

А все-таки она почему-то должна была сказать ему об этом. Не так по-глупому, но должна была. И не потому, что все это было так уж важно, а потому, что без этой недавней и неудачной попытки раздвоения на душу и тело она тоже не была бы самой собой. А он должен знать, какая она на самом деле. Иначе вообще все бессмысленно.

После того как он ей ответил «не верю тому, как вы говорите о себе», они оба долго молчали. Потом он сказал:

– То, о чем сказали, было и прошло. Или не так вас понял?

– Поняли правильно.

– А зачем рассказали? – строго спросил он.

«В самом деле, зачем?» – снова подумала она и, растерявшись, попробовала отшутиться:

– Такой уж, видно, стих нашел, – говорю вам все подряд, как на духу.

– Зря, – сказал он, – а то как бы и меня не потянуло. Много лишнего наслушаетесь.

И прежде чем она успела ответить, что не боится этого, поднялся и стал прощаться, так и оставив ее в недоумении, что хотел сказать этим: то ли пригрезился рассказать в ответ о чем-

то своим, то ли вспомнил о чем-то, имевшем отношение к ней и к ее мужу, чего считал лучше не касаться.

Сейчас, когда она вспомнила об этом, ей снова сделалось не по себе и даже показалось, что он может не прийти к ней сегодня.

Через приотворенное окно вдруг послышались его шаги на дорожке. Она выглянула, но там никого не было. Сердясь на собственное волнение, она закрыла окно, чтобы больше не прислушиваться, – как раз в ту минуту, когда Серпилин постучал в дверь.

– Простите, что припоздал. Но оказался за одним столом с генерал-полковником Батюком и никак не мог доужинать.

– Что, так вкусно?

– Не сказал бы: творог. Но за творогом обсуждали, как будем воевать летом; и возник длительный спор на тему: можно ли нашего брата в тридцать семь лет командующим фронтом назначать, как это недавно с одним молодым генералом было сделано? Не слишком ли нежный возраст для такой должности? И можно ли к таким незрелым еще годам превзойти все необходимые для войны науки?

– А вы считаете, можно?

– Я считаю, можно, – сказал Серпилин. – Но генерал Батюк разбил меня в пух и прах по всем пунктам. Говорю ему: «Нам с тобой уже по пятьдесят, а всех положенных нашему брату наук все равно еще не превзошли». Отвечает: «Если и не превзошли, зато имеем большой опыт». Говорю: «Давай вспомним гражданскую войну – были же на ней командующие фронтами и по тридцать лет и менее того?» Отвечает: «Это – другое дело, тогда мы вообще все молодые были». Говорю ему, что Наполеон в тридцать три года главнокомандующим был. Отвечает: «Наполеон нам не указ, у нас Суворов и Кутузов есть, а они вон в каком возрасте победы одерживали...» В общем, кто моложе нас годами, выше нас лезть не должен! Я даже на авторитет товарища Сталина пробовал ссылаться. Но и это не помогло. Говорит: «Конечно, товарищу Сталину виднее, но все же эту кандидатуру кто-то подсказал ему. А он только утвердил. И дай бог, чтоб не пожалел!» Так и не пришли к соглашению.

– Хоть не очень кричали друг на друга? – спросила она в тон Серпилину, радуясь, что он пришел в хорошем настроении.

– Умеренно. Здоровья не повредили... Если бы, как в приключениях барона Мюнхгаузена, заморозить все наши генеральские споры здесь, в Архангельском, а потом, после войны, разморозить да послушать, много любопытного услышали бы и о войне и друг о друге.

– Если бы всю войну дневник вести, но только все подряд, потом было бы интересно прочитать даже мой, – сказала она.

– Дневники нам и по закону не положены, и времени на них не отпущено, – сказал он. – Но все равно война после себя столько бумаг оставит, что потом сто лет читай – не перечтешь. Боевые донесения, оперсводки, разведсводки, дневники боевых действий, да еще в каждом полку, каждый день, если есть потери, ПНШ-4 пишет свой синодик: с именами, со званиями, с адресами родственников, с обстоятельствами гибели и местом погребения. И в каждой роте старшина пишет, сколько едоков на довольствии для получения всего по штату положенного. А сколько их, таких старшин, в армии! И все сидят по вечерам и пишут. А ваши медицинские рапортички, сопроводительные, истории болезней? Вся эта ваша бумажная карусель от поля боя до команды выздоравливающих, через все пепеэмы, медсанбаты, эвакогоспитали, санпоезда... Наверное, только одними вашими медицинскими бумагами можно будет после войны четырехэтажный дом набить.

– Почему четырехэтажный?

– Считаю по этажу на год. Или хотите пятиэтажный?

– Уж лучше четырехэтажный.

– И вы будете сидеть там, в этом доме, разбирать эти бумаги и задним числом по ним диссертации писать.

– Что-то вы ополчились сегодня на медицину!

– Напротив. Думаю о серьезности вашего дела, какая сила у вас, врачей, в руках. Из каждых четырех раненых троих даете нам обратно, в строй. Допустим на минуту, что вы нам с начала войны никого обратно не вернули, сегодня воевать уже нечем было бы! Я сам, кабы не попал в армейский хомут, наверное, как и вы, стал бы врачом. А может, остался бы фельдшером. Получил бы по случаю войны повестку и по три кубаря на петлицы и служил бы у вас под началом в вашем армейском госпитале. Вы в какой армии были?

– В сорок девятой.

– Допустим, в сорок девятой, направление: Таруса – Кондрово – Юхнов... Так?

– Так. Но что-то плохо представляю себе вас в роли фельдшера, – сказала она.

– И напрасно. Потому что я как раз и был на той мировой войне фельдшером, пока после Октябрьской революции комбатом не выбрали. И отец у меня фельдшер. И по сей день фельдшером, там же, где пятьдесят лет назад был, в Туме, во Владимирской, по-старому, губернии.

– Сколько же ему лет?

– Семьдесят семь. Еще, может, увидите его. Пропуск ему хлопочу, чтобы сюда повидаться приехал. Адъютанта за ним пошлю. Вчера вас спросил, как врачом стали, а вспомнил о себе – как мечтал об этом. И у нас в доме тоже был дух медицины, конечно, не профессорской, как у вас, а скудной, сельской, но зато на все руки. Вам, например, роды приходилось принимать?

– Один раз ассистировала на пятом курсе во время практики.

– Вы ассистировали, а я принимал троекратно и благополучно. Так что, сложись жизнь по-другому, мог бы и до сих пор там у нас, в Мещерской стороне, фельдшером работать.

– А я думала, вы совсем других кровей.

– В каком смысле? – Он в первую секунду не понял ее.

– Думала, что вы из военной семьи, как... – хотела заставить себя сказать «как мой муж», но почему-то не смогла и сказала: – Как Баранов.

– Вот уж этого греха, что из дворян, за мной не было, – рассмеялся Серпилин. – Чего не было, того не было. Даже в такое время, когда всякое на меня писали, до этого не додумались.

Так они наткнулись на то, что она все равно считала неизбежным. Можно было уклониться, но она не уклонилась и спросила:

– Федор Федорович, что вы думали и что думаете о Баранове?

Он медленно поднял на нее глаза, и она поняла: не хотел говорить с ней об этом, но, раз заговорила сама, не отступит и скажет.

– Не знал, что это вам нужно, и сейчас не уверен, – сказал он каким-то не своим, тяжелым голосом и замолчал, словно все еще ожидая, что она избавит его от этого.

Но она не избавила, несмотря на опасность, которую почувствовала в его голосе; смотрела ему в глаза и молчала. И он понял, что придется говорить.

– Учтите, – сказал он, – не способен по правилу: «О мертвых или хорошее, или ничего». Говорю о мертвых, как о живых, то, что думаю. А думаю о нем бесповоротно плохо. – Он замолчал, словно к этому нечего было добавить, но, подняв на нее глаза, все-таки добавил: – Говорю не о войне. Не один он в первые дни трусил. Знаю и других, давно доказавших, что это пора с них списать. Допускаю: останься жив – и с него было бы списано. Не уверен, но допускаю. А думаю о нем бесповоротно плохо по тем временам, которые вы знаете.

– Думаете, что он виноват перед вами? А я не верю в это!

– Вы меня не так поняли.

– Как я вас могла не так понять, господи! – воскликнула она и остановилась под его тяжелым взглядом.

– Ольга Ивановна, – сказал он, – я не хочу говорить об этом даже с вами. И не из страха божьего, а потому, что считаю: долг таких, как я, не вспоминать об этом. Только этого нам сейчас, во время войны, не хватает: рассказов обо всем том, что мы имеем несчастье помнить! А насчет вашей веры в мужа – оставайтесь при ней. Видя, какой вы человек, хочется разделить ее с вами. Хотя это мало что меняет.

– Как это может мало менять?..

– Опять не так меня поняли, – снова перебил он. – Что там было или не было лично со мной – дело десятое. И не про это сказал вам, что я бесповоротного мнения о Баранове, а про то, каким он был в те годы, в академии, и в тридцать шестом, и в тридцать седьмом, до последнего дня, когда его видел. Разве можно было слушателей так готовить, как он готовил, – к такой войне, какую мы с вами видим! И если бы просто язык хорошо подвешен! А то ведь действительно знающий человек был! Но знал одно, а говорил другое. Заведомых неправд глашатай! Да куда бы мы пришли со всем с этим, если б после финской, хоть и с запозданием, за ум не взялись?

Он поднялся и заходил по комнате из угла в угол, недовольный тем, что сорвался и наговорил все это хорошей и даже, может быть, прекрасной женщине, которая ни сном ни духом не виновата в том, за что он не любил ее мужа.

– А вы с самого начала не верили в то, что он так и думает, как говорит? – спросила она.

– Не верил, – не останавливаясь, на ходу сказал Серпилин и мотнул головой.

– А я тогда верила.

– А я не верил. Были и такие, которые искренне считали, что единым махом семерых побивахом! Этим бог простит. Если живы... А он не мог в это верить. Был слишком умен и знающ для этого.

Следя за тем, как он мрачно ходит по ее тесной для него комнате, она уже почти готова была рассказать ему о том давнем, страшном для нее разговоре с Барановым. Сразу после финской войны.

Но удержала себя, нет, не так-то все это просто было тогда. И тот ее ночной разговор с мертвым теперь человеком принадлежал только ей. А старый спор Серпилина с ее мужем – кто был прав и кто неправ – давно решила сама война. Ее муж только делал вид, что не боится этой войны, а Серпилин...

«Серпилин... Что Серпилин?..» Она потеряла продолжение собственной мысли и, глядя на Серпилина, подумала совсем о другом: что он все-таки чуть-чуть прихрамывает после того ранения в сорок первом году, которое записано у него в истории болезни.

Ни разу не замечала этого, а сейчас, когда он заметался взад-вперед по ее комнате, заметила.

– Федор Федорович...

– Что?

– Садитесь. Пришли пить чай, так давайте пить. Наверное, уже остыл...

Серпилин сел за стол, снял с чайника ушанку и салфетку, сам налил себе стакан чая и вдруг отодвинул от себя.

– Простите, но еще несколько слов, для ясности.

– Ну что ж, послушаем, чего нам еще не хватает для ясности, – попробовала пошутить она.

Он перемолчал ее шутку с неподвижным выражением лица.

– Знаю, что наговорил вам много тяжелого. Но при всем своем глубоком уважении к вам ничего из сказанного обратно взять не могу.

– И не берите, – сказала она. – Услышала от вас мало веселого, это верно. Но я ведь веселого и не ждала. И не думайте, что сделали для меня какие-то особенные открытия. К большинству из них я сама пришла. Не сразу, правда. И заговорила с вами обо всем этом не по

женской слабости, а тоже, как вы выражаетесь, «для ясности». Так вот, «для ясности»: я уже давно существую сама по себе. «Отдельно стоящее дерево», как говорят топографы. Понятно вам? И когда вы отодвинули от себя стакан с таким видом, словно скажете мне что-то такое, после чего нам с вами и чай гонять будет нельзя, мне захотелось ответить: ладно уж, пейте.

Они пили чай и молчали, чувствуя одновременно и облегчение и усталость. Сейчас, когда этот разговор остался позади, казалось, что он не мог выйти иным, чем вышел. Но на самом деле он мог выйти и иным, как всякий такой разговор, в котором достаточно лишь в одном месте не суметь или не решиться понять друг друга, чтобы дальше все пошло таким колесом, которого уже не повернешь вспять, даже общими усилиями.

– Чего это вам на ум взбрело, что я дворянской кости? – допив чай, спросил Серпилин.

– Есть в вас что-то до того неистребимо военное, словно бы вдобавок еще и с детства в этом воспитаны.

– «Вдобавок», – усмехнулся Серпилин.

– Чего смеетесь?

– Подумал: неужели к тридцати годам моей собственной военной службы нужен какой-то добавок, чтобы я стал еще более военным человеком, чем есть? С тех пор как погоны ввели, иногда замечаю в разговорах излишнее умиление перед нашим старым русским офицерством. Не разделяю. Всякое оно было. И злаки и плевелы. Уж кто-кто, а я, как фельдшер, разного навиделся... Недавно услышал от одного умника про командующего тем фронтом, где я раньше был, что, дескать, он очень интеллигентный человек – с чем не спорю, – но почему? Потому, видите ли, что еще в царской армии прапорщиком был! Оказывается, то, что он после этого нашу Академию Фрунзе окончил, в Красной Армии еще в мирное время дивизией и корпусом командовал, а на этой войне – армией и фронтом и такую операцию провел, как в Сталинграде, – все это еще не доказывает, что он интеллигентный человек! А вот то, что он прапорщиком в царской армии был, – вот это да! И добро бы от какого-нибудь лейтенантика это услышал, а то ведь от человека зрелых лет!

– Кстати, – рассмеялась она, вдруг передумав не говорить ему этого, – с сегодняшнего дня я тоже человек зрелых лет. Ровно сорок.

Он посмотрел на нее так, словно она пошутила, слишком уж неожиданными показались ее слова.

– Вполне серьезно. Даже от сыновей два письма получила к этому дню неделю назад. Написали с запасом, чтобы не опоздать. Как почта идет, известно. И не поднимайтесь за своим коньяком, знаю, что он у вас есть, но сегодня не хочу. В другой раз и по другому поводу.

– Благодарен вам, что позвали в такой день, – помолчав, сказал Серпилин. – Поздравляю вас.

Она думала, что он сейчас поцелует ей руку, но он почему-то не поцеловал.

– Это не мне, а вам спасибо, что пришли, – сказала она. – Кроме вас, никого не хотела видеть сегодня, никому и не сказала. Сыновей, конечно, хочу видеть еще больше, чем вас, но это невозможно. Напишу теперь им отчет, как принимала вас у себя и поила чаем с печеньем!

Она решила превратить весь этот разговор о своем дне рождения в шутку, но вышло наоборот; Серпилин неожиданно для нее спросил:

– Напишите сыновьям, что я у вас был?

И она поняла по его лицу, что он посмотрел на то же самое совсем с другой стороны, чем она.

– Напишу, – ответила она так же серьезно, как он спросил. – Я им всегда пишу обо всем важном в своей жизни.

– Для меня это тоже важно, – сказал Серпилин.

– А я поняла это, – сказала она. И после этого так долго молчала, словно ушла из комнаты, словно ее тут и не было.

Вспомнив про ее младшего сына, недавно поступившего в артиллерийское училище, Серпилин заговорил о том, что уже обсуждал сегодня с Батюком, – о введении отдельного обучения для мальчиков и девочек. Спросил, как она думает; много ли даст это с точки зрения физического воспитания.

– С точки зрения физического воспитания, может, и хорошо, – сказала она, – а со всех остальных мне не нравится.

– Почему?

– А вам нравится?

– Мне нравится.

– Тогда первый и скажите: почему?

Он сказал, что в школах, где будут учиться одни мальчики, установится более спартанский дух, в армию после войны начнет приходить более закаленное для военной службы поколение.

– А зачем вам оно? Да еще закаленное, как вы выражаетесь. После войны снова воевать собираетесь? Для этого?

– Насчет «собираемся» – сильно сказано, но думать об этом придется. Такая уж наша стезя.

– Ну, допустим, я задала неумный вопрос, допустим, вы уже сейчас обязаны думать об этом. Но при чем тут девочки? Чем они вам, например, мешали?

– Когда я учился, их, положим, не было. Тем более в фельдшерской школе.

– Ладно, не ловите меня на слове. Спрошу вас по-другому: чем вам женщины в жизни мешали, когда рядом с вами были? Мешали вам быть военным, быть храбрым, долг выполнять вам мешали? Или, может быть, они теперь на войне вам мешают? Отдельную армию из них, что ли, сформировать?.. Нет, нет, – она заметила, что он улыбнулся. – Я очень серьезно. Вот была у вас жена, много лет делила с вами все, что бы ни выпало на вашу долю. Неужели ее присутствие когда-нибудь мешало вам стать тем, кем вы стали? А может, наоборот, помогало?

– Разве я об этом говорю? – Серпилина ошарашила простота, с какой она заговорила о его покойной жене. – Я говорю о школе, о мальчиках и девочках.

– А что ж, вы хотите, чтоб восемнадцатилетний парень, выйдя из школы, смотрел на девушек как баран на новые ворота? Считаете, что это мужества ему прибавит? Не знаю, как у кого, а мои сыновья росли возле моей материнской юбки, и пока ничего худого из этого не вышло. Хотя я военной суровостью воспитания не отличалась. Просто умела говорить им четыре слова: «да», «нет», «хорошо» и «плохо».

Серпилин молчал. Молчал и думал не о раздельном обучении и не о сыновьях этой, все сильнее нравившейся ему женщины, а о собственной жизни и собственном сыне, о том, о чем уже не раз, встречая разных людей, с горечью думал на фронте: как далека от истины бывает поговорка «Яблочко от яблоньки...».

– Почему молчите и не спорите? – спросила она.

– Пропала охота. Вспомнил, как сам до двенадцати лет, пока мать не умерла, ходил, как вы выражаетесь, возле ее юбки. Она была у меня татарка, ушла из дома и крестилась, чтоб выйти за отца. И у нее не было ни родни, никого, это все было отрезано, только отец и я. Двое братьев, старше меня, умерли, я единственный, во мне все. Как она только меня не баловала! Иногда думаю, на всю жизнь вперед набаловала, сколько успела.

Она почувствовала в его словах горечь и что-то затаенное, нежное, что, наверное, за его трудную жизнь ему не раз приходилось душировать в себе, но оно все равно жило в нем, как отзвук рано оборвавшегося и счастливого детства.

– Отчего она умерла?

– Ее бык убил. Выбежала меня спасти. – Его лицо даже сейчас, через столько лет, содрогнулось от воспоминания о том, как это было. – Сутки промучилась, пока отошла, бредила по-

татарски, никто не понимал, только я один. Немножко знал от нее по-татарски и до сих пор знаю.

– Ваш отец, верно, сильно любил ее? – спросила она то, что, наверно, и должна была спросить женщина.

Но Серпилин только молча кивнул, не ответил. В чем дело, что случилось? Что она такого сделала, эта сидевшая перед ним женщина, чтобы вдруг заставить его говорить здесь, при ней, о себе столько, сколько он, кажется, век никому не говорил? Какого черта его потянуло на эту исповедь и как это вообще можно заново рассказывать кому-то свою жизнь, когда тебе пятьдесят лет? И как она выглядит в ее глазах, эта твоя жизнь? Что она о ней думает? И надо ли, чтобы она вообще что-то думала о твоей жизни? При чем тут она?

Он замолчал и уперся, сам себе сопротивляясь. И на его лице от этой борьбы с самим собой появилось то жестокое выражение, которое она сразу же заметила. Он умел быть жестоким к самому себе, таким был и сейчас. Но она не поняла этого; ей показалось, что он сейчас молча упрекает не себя, а ее.

– Не сердитесь, что я проголосовала на дороге и вскочила к вам на подножку. Я могу и соскочить... Но мне не хочется.

И в этот момент – не раньше, когда она ждала этого, а сейчас, когда не ждала, – он наклонился над столом и поцеловал ее лежащие на столе руки; одну и другую. А потом, разогнувшись и откинувшись на стуле, сказал:

– Это не вы проголосовали, а я. Так что если кого и спихивать с подножки, то как раз меня!

Это было сильно сказано. Пожалуй, даже слишком сильно, так, что вроде уже нечего было больше говорить.

Если угодно, это было признание в том, что ты ему необходима, и в устах такого человека оно звучало куда значительно более расхожих мужских слов о том, как ты хороша собой и как ты нравишься. То, что она все еще хороша собой, она знала, то, что нравится, не раз слышала и тоже знала. Знала и сейчас. А вот с какой силой, оказывается, он способен сказать ей про ее необходимость для него – этого не знала. И ни здравый смысл, напомнивший ей сразу же о тысяче вещей – о войне, о годах, о сыновьях, ни ее склонный к иронии ум – ничто не смогло помешать рождению простой и до глупости счастливой мысли: «Вот так и сводит людей судьба!» Хотя судьба еще не свела их и могла не свести.

Ничего не ответив на его слова про подножку, только сказав глазами, что никуда они оба не соскочат, она заговорила о делах. Сегодня – она знала это от начальника санатория – в Москву звонили по ВЧ из штаба фронта и нетерпеливо интересовались здоровьем Серпилина. Говорить ему об этом она не хотела, чтобы зря не волновать его, но некоторые меры считала нужным принять.

– На днях у нас здесь будет на консультациях главный терапевт армии, я вас к нему приведу, а вы уж потрудитесь произвести на него хорошее впечатление своим состоянием здоровья и видом, чтобы вдруг не застрять потом на комиссии. Не хочу, чтоб комиссия закончилась не так, как вы ждете. Если вас задержат, все равно душой будете уже не здесь, а там... А нам таких не надо.

Она улыбнулась, а он подумал, что раз зашла речь о его лечении, наверно, пора подниматься.

– Идите, вам и правда пора, – сказала она, встретив его выжидающий взгляд.

Сказала так потому, что сейчас, после всего уже сказанного ими обоими, ей осталось только одно из двух: или это, или «останьтесь».

## 4

В тот день, когда Серпилин с Батюком вдали от фронта, в Архангельском, вспоминали о члене Военного совета фронта генерал-лейтенанте Львове, Львов тоже вспомнил о Серпилине и, позвонив члену Военного совета армии Захарову, вызвал его к себе.

– Когда прибыть? – спросил Захаров.

– Сейчас, – тоном ответа Львов подчеркнул неуместность вопроса. – Сколько вам надо на дорогу?

– Два часа.

– Жду вас.

Тому, что вызывал глядя на ночь, даже не спросив при этом – можете ли сейчас выехать? – удивляться не приходилось. У Львова свой распорядок дня – любит работать по ночам, а какой распорядок у других и когда они успевают спать, его не интересует.

Чертыхнувшись, Захаров надел шинель и, прежде чем ехать, зашел к исполняющему обязанности командарма, начальнику штаба Бойко.

– Поужинаем? – спросил Бойко.

Обычно они – так это было заведено еще Серпилиным, – закончив все дела и подписав все бумаги, намечали планы на будущий день и вместе ужинали.

– Не могу, – сказал Захаров. – Зачем-то понадобился товарищу Львову.

– Сейчас?

– Лично, срочно! Даже поинтересовался, за сколько доеду. Чего-либо особого в штабе фронта сегодня не почувствовал?

– Наоборот. За весь день всего два раза звонили.

– Значит, он в сегодняшнем номере нашей армейской газеты что-нибудь на ночь глядя обнаружил. Или передовая не такая, или сверстали не так. Или свежая идея пришла, с которой подождать до завтра сил нет... Мог бы и по телефону, но, наверно, решил лишний раз поднять по тревоге, проверить мою боевую готовность!.. Бывай здоров.

– А как же с поездкой в семьдесят первый корпус? – спросил Бойко.

– Поедем в семь, как условились. Как встанешь – позвони, разбуди. А если надолго задержит, прямо там и съедемся, в дороге посплю.

Захаров вздохнул, устало погладил круглую седую голову и вышел.

Водитель дремал, навалился на руль.

– Поехали, Николай, – сказал Захаров, толкая его в плечо и садясь рядом. – Если засну, учти: за час пятьдесят минут должен довезти до места.

Но, несмотря на усталость, против ожидания спать не потянуло.

– Товарищ генерал, – заметив, что Захаров не спит, спросил водитель, ездивший с ним еще до войны, когда Захаров служил в Московском военном округе, – не слышали, когда командующий армией вернется?

– Кто его знает. Писал, что поправляется, но последнее слово не за ним, а за медиками. Почему спросил? Так просто или солдатская почта что-нибудь на хвосте принесла?

– Так просто. Вижу, вы без него скучаете...

Захаров действительно скучал по Серпилину, хотя скучать времени не было. Армия пополнялась людьми и техникой, готовилась к боям и к форсированию водных преград. Каждый день то учения и тренировки, то сборы командного и политического состава, то проверки. Считается затишьем, а на деле ни сна, ни отдыха.

«Скучать» – это слова! Это проще всего. А суть дела – чтобы и без Серпилина все шло своим чередом.

«Бойко молодой, еще год назад – полковник, а тут – один в двух лицах; на плечах и то, что сам раньше тянул, и то, что – Серпилин. Разрывается, но делает, и даже нельзя сказать про него, что разрывается. Весь в поту, а мыла не видно», – с уважением вспомнил о Бойко Захаров, не любивший людей, которые везут свой воз кряхтя, всем напоказ.

«Зачем он меня вызвал?» – думал Захаров о Львове.

В прошлый раз вот так же глядя на ночь вызвал и приказал сделать в армейской газете полосу об опыте снайперского движения и целый час объяснял, как именно надо составить эту полосу. Объяснял со знанием дела, но непонятно: почему ночью? И почему вызвал тебя?

При всей важности такой полосы в газете все же не члену Военного совета ее верстать, а тому, кому положено, – редактору. За все сразу хвататься – можно и главного не успеть!

Правда, есть и другая постановка вопроса: как же так? Я, член Военного совета фронта, во все вхожу, все успеваю, а у тебя, у члена Военного совета армии, времени на это нет?

Казалось бы, что возразишь? Но возразить можно. Все, что я упустил или не успел, – это тебе сверху видно, или считается, что видно, и если тебе там, наверху, ударило в голову встрять самому в какую-нибудь мелочь, то я, конечно, должен от этого в восторг прийти! Это ясно! А вот не упустил ли ты сам там, наверху, за всеми этими мелочами чего-нибудь поважней – об этом мне спрашивать не положено. Хотя вполне возможно, что так оно и есть. И спи ты хоть по два часа в сутки, всего на свете все равно сам не переделаешь. А раз так – значит, все же надо делить: одно делаешь сам, а другое – другие. Если они, конечно, на своих местах сидят. А сделать так, чтобы они на своих местах сидели, – это и есть самое главное, без чего, в какие бы мелочи ни влезал, далеко не уедешь.

«Интересно, зачем все же вызвал? – еще раз подумал Захаров. – Может, после того как знакомился с армией, надумал кого-нибудь, кто понравился, к себе в Политуправление фронта забрать?.. Хорошо бы Бастрякова от меня забрал. Кажется, понравился ему, два часа ночью на беседе у него сидел. И вышел такой довольный, словно яичко снес. Отдам – не охну...»

Он даже рассмеялся от мысли, какой подарок, сам того не подозревая, сделал бы ему Львов, забрав наконец от него Бастрякова.

– Что, товарищ генерал? – спросил водитель.

– Анекдот вспомнил. Как фрицы начальника военторга в плен взяли. Командующему доложили и спрашивают: «Прикажете отбить?» А командующий говорит: «Не надо, мы с ним уже два года мучаемся, пускай теперь они помучаются...» Подумал про одного работничка. И вспомнил. Не слыхал?

– Слыхал. Вы один раз рассказывали.

– А чего ж ты по второму разу смеешься? Значит, память у меня уже не та, не смеяться, а плакать впору...

Приехали в штаб фронта и остановились у избы, которую занимал Львов, без опоздания, ровно в час ночи.

Захаров скинул шинель и бросил ее на сиденье «виллиса».

– Будешь спать – накройся.

Он потер левой рукой правую, озябшую, пока всю дорогу на ветру держался за переднюю стойку «виллиса», предъявил документы автоматчику, поднялся на крыльцо и открыл дверь.

За столом, привалясь к стене, подложив под толстую щеку толстую руку, спал толстый полковник, уже давно состоявший при Львове одновременно и адъютантом и офицером для поручений и, как хвост, ездивший за ним с фронта на фронт.

«И как он только сохраняется такой рыхлый при таком беспокойном начальстве? Другой бы на его месте давно последний вес потерял», – подумал Захаров о спящем полковнике и озорно гаркнул так, что тот подпрыгнул на стуле:

– Явился по приказанию генерал-лейтенанта! Прошу доложить...

Подпрыгнув на стуле и проснувшись, полковник неохотно встал и, моргая, сказал недовольным голосом, что товарищ Львов еще не вернулся от командующего. Сказал, называя своего начальника не по званию и не по должности, как принято в армии, а именно «товарищ Львов», по привычке вкладывая в эти слова свой особый смысл: то, что его начальник был сейчас генерал-лейтенантом, имело меньшее значение, чем то, что он был и оставался «товарищем Львовым».

Полковник постоял несколько секунд за столом напротив Захарова и наконец, словно делая ему одолжение, кивнул на дверь:

– Пройдите, подождите там.

Захаров прошел в соседнюю комнату, оставив дверь открытой. Его заставило сделать это какое-то едва уловимое колебание в тоне полковника.

Он оглядел комнату. В прошлый раз Львов принимал его не здесь, а в соседней деревне, в Политуправлении фронта: там, где вдруг вспомнил про эту полосу в газете, туда и вызвал.

Комната была довольно большая, с бревенчатыми, чистыми, может быть, даже специально вымытыми, стенами. На стенах ничего не висело: ни старого, оставшегося от хозяев, ни нового. Один угол комнаты был завешен от пола до потолка сшитыми в два ряда плащ-палатками, а на всем остальном пространстве стояли только стол со стулом, несгораемый ящик и еще четыре стула напротив стола, по другой стене. Больше ничего.

На столе лежали: большой чистый блокнот, толстый карандаш – с одного конца синий, с другого – красный – и очечник. Ни бумаг, ни карт – ничего.

Правда, стол был канцелярский, с ящиками, и, наверное, и бумаги и карты – все, без чего не обойтись, лежало там и в несгораемом ящике. Но сейчас, когда в комнате не было хозяина, ничего этого на виду тоже не было.

Захаров прошелся по комнате, сел и вдруг почувствовал себя не членом Военного совета армии, а сидевшим на стуле у стены посетителем.

Стул был жесткий, желтый, крашеный, канцелярский. Такой же, как четыре других стула – еще три у стены и один там, с той стороны, за столом. И стол был такой же точно – желтый, крашеный.

Захаров подумал, что, наверно, все это возилось с собой – с фронта на фронт. О Львове было известно, что он до сих пор подолгу нигде не задерживался.

И эту занавеску на кольцах, сшитую из шести плащ-палаток, скорей всего тоже возили с собой. Что там – за ней? Наверное, всего-навсего складная койка да один чемодан.

Почему-то при мысли о Львове казалось, что он может возить за собой этот канцелярский стол и стулья, но что у него больше одного чемодана, в голову не приходило. Да и этот свой чемодан и койку он отгородил занавеской от чужих взглядов, чтобы, не дай бог, не подумали, что и он, как все люди, и спит на койке и чистое белье в чемодане держит.

Комната была такая, что даже не требовалось надписи: сделал свое дело – уходи. И так не засидишься!

Сидя на стуле у стены и почему-то даже не закинув по привычке ногу на ногу, Захаров думал о Львове и о том не до конца еще понятном ему самому впечатлении, которое производил на него этот человек.

Слышал о нем больше чем достаточно и даже один раз был у него пятнадцать минут по вызову на Дальнем Востоке. Но та встреча не в счет, другие обстоятельства. По сути, знакомство состоялось здесь, на фронте, и больше всего за те три дня, что Львов недавно пробыл у них в армии.

Разное было за эти три дня: и понятное и малопонятное. Были вызовы и разговоры по ночам, когда только что заснувшие и не ожидавшие вызова люди хлопали, не выспавшись, глазами и чувствовали себя виноватыми перед лицом бессонного начальства. Хотя, наверное, если взять на круг, они не меньше его трудились и не больше его спали.

Один Бастрюков, как видно загодя разузнав привычки Львова и благополучно выпавшись днем – он это умел, – глядя на ночь был как огурчик.

Конечно, строго говоря, на войне ночи нет. Должен быть как штык – в любое время суток. Если действительно необходимо. Но Львов, как показалось Захарову, любил держать людей в напряжении – надо или не надо. Как будто им этого и так не хватает на войне!

На передовой Львов много лазил по переднему краю, и это в разных случаях вызывало в Захарове разные чувства. В одном полку Львов не только по всему переднему краю прошел, но и в ячейки боевого охранения залез, в переднюю яму к переднему солдату. И оказалось потом – не просто так, а имел сигнал, что по двое суток горячей пищи туда не доставляют, люди сидят даже без сухого пайка. И полез сам и докопался, и в одной роте оказалось – верно, так и было. И пришлось старшину роты под трибунал. И замполиту полка влетело, и замполиту дивизии, и самому Захарову пришлось краснеть...

Но в других местах Львов лазил по переднему краю непонятно зачем. Лазил так, словно хотел выбрать участок для прорыва, оценить передний край противника. А на самом деле и не выбирал, и не оценивал, и не задавал вопросов, которые бы имели к этому отношение. Просто лазил, таская за собой без необходимости целую свиту: от замполита корпуса до замполита полка, заставляя их белеть от страха не столько за свою, сколько за его жизнь. Лазил, словно хотел уязвить их, что они без него там не бывали, а вот он приехал – и им пришлось! А они и без него там бывали, когда требовалось.

Говорил там, в окопах, со многими, иногда подолгу, особенно когда немцы, заметив шевеление, открывали огонь; как бы испытывал этим окружающих. Узнал, что у солдат махорка крошится по карманам: не в чем держать, – и приказал тыловикам немедленно пошить кисеты. А в то же время ни одного теплого человеческого слова так никому и не сказал, не запомнилось.

Были и обижавшие людей мелочи. Что ночевал все три ночи у них там, в армии, и одну из этих ночей на передовой, – хорошо. А вот что с собой, оказывается, возил закатанный в валик тюфячок, тощенький, как подстилка, и этот тюфячок, и свои простыни, и одеяло приказывал класть поверх постеленного, это уже ни к чему. Вшей, что ли, боялся или думал, что ему в армии чистого белья не найдут и не постелят... И водки ни разу ни с кем ни глотка не выпил, как бы отодвигая людей от себя. И главное, этот его Шлеев, полковник, за ним не только термос, но и отдельный стакан возил, и в пергамент завернутые какие-то диетические котлетки, и что-то там еще, тоже свое, отдельное. А при всем этом был способен днем, на брюхе, в грязь доползти до боевого охранения...

Захаров, посмотрев на часы – он ждал уже тридцать минут, – еще раз оглядел комнату Львова, которая, казалось, говорила о своем хозяине, что ничего, кроме порученного ему дела, в его жизни не было и не будет, и вдруг вспомнил рассказ своего однокашника по Толмачевке, начальника Политуправления фронта Гаврилина, о жене Львова: жена его, уже немолодая, даже пожилая женщина, оказывается, работала начальником аптеки в одном из фронтовых госпиталей и за это время несколько раз приезжала к мужу. От этого госпиталя до штаба фронта километров сорок, и Гаврилин узнал стороной, что жена Львова в первый раз приехала и уехала на перекладных, на попутных машинах. Он при случае спросил Львова: как же так вышло? Если у него машина была занята, нашли бы другую! А Львов ответил: «Я для нее особых условий создавать не буду. Пусть добирается, как все другие люди». «Выход из положения, конечно, нашли, – посмеиваясь, сказал Гаврилин. – Пришлось мне после этого разговора – сердце не камень! – в другие разы посылать за ней свою машину». А Захаров, услышав это, подумал тогда и снова подумал сейчас, что в такой сверхщепетильности Львова есть что-то показное, обдуманное, дающее ему возможность с высоты своей принципиальности беспощадно обрушиваться на других людей за всякую мелочь...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.